Литрес ≡ Классика

Николай Некрасов

ТРИ СТРАНЫ СВЕТА



Николай Некрасов

Три страны света

«ЛитРес»

1849

Некрасов Н. А.

Три страны света / Н. А. Некрасов — «ЛитРес», 1849

Масштабный авантюрно-приключенческий роман, написанный Некрасовым в соавторстве с Авдотьей Панаевой. В центре повествования – история молодого дворянина Каютина, который отправляется в долгое странствие, чтобы заработать состояние и соединиться с возлюбленной. Его путь лежит через три страны света: от сурового русского Севера и бурных морей до далёких восточных земель. Героя ждут опасные приключения, испытания характера и неожиданные встречи, а параллельно разворачивается линия верной любви, ждущей его на родине.

© Некрасов Н. А., 1849
© ЛитРес, 1849

Содержание

Пролог 6
Часть первая 14
Глава I 14
Глава II 20
Глава III 26
Глава IV 34
Глава V 41
Глава VI 55
Глава VII 62
Конец ознакомительного фрагмента. 63

Николай Некрасов, Авдотья Панаева
Три страны света

Серия «Литрес Классика»

© «Литрес», 2026

Пролог

В глухом и далеком углу обширной русской земли, в небольшом уездном городе, за несколько десятков лет до начала нашей истории, на углу улицы, кончавшейся полем, стоял небольшой скривившийся деревянный дом. Он принадлежал городской повивальной бабке Авдотье Петровне Р***. Авдотья Петровна была женщина редкая; по должности своей она знала семейные тайны многих лиц города: кажется, довольно, чтобы и весь город знал их? Но Авдотья Петровна упорно молчала. Многие дамы оставили ее именно за это достоинство, которое считали важным недостатком.

– Какая дура эта Авдотья Петровна! лежишь, а она хоть бы слово интересное сказала… даже знаешь какую-нибудь историю, а так только нарочно спросишь: «правда ли, что жена Днищева свела шашни с Долбишиным?» запирается! я, говорит, не знаю!

Так жаловалась слабая супруга своему мужу после благополучного разрешения.

– Что же делать? – спрашивал супруг.

– Что делать? вот я ей откажу; она у меня последнего принимает!.. Возьму Веру Антоновну.

– Далеко посылать, да и обидишь Авдотью Петровну.

– Вот хорошо! – вскричала больная: – да она может уморить с тоски!

– Ну, хорошо, возьми Веру Антоновну, – говорил испуганный супруг.

Вера Антоновна была бабушкой другого, ближайшего уездного города. Она пользовалась обширной известностью, которой много способствовал лекарь того города, первый друг и приятель Веры Антоновны.

Вера Антоновна могла даже мертвого поднять своей болтовней, не только занять больную. Она знала все и всех. Обширное знакомство доставляло ей неисчерпаемый источник для толков и пересудов. Никто при ней не смел заикнуться о годах кого-нибудь.

– Как это можно, помилуйте! Анне Сидоровне теперь под сорок: она только на лицо моложава. Я у ней принимала первого; а Ваничка ровесник Соне Подгорной… Вот, я вам скажу, будет богатая невеста и старше только двумя месяцами Оли исправниковой… Как теперь помню, такая была жара; я ехала от Анны Сидоровны к исправнику… Какая она у него стала: так и тает, так и тает, точно свеча, чуть жива. Вот уж осьмого недавно бог дал: трудно, очень трудно родит. Сам-то исправник, знаете, не любит дома сидеть: разные шашни у него…

– Неужели, Вера Антоновна, с казначейшей? – спрашивали таинственно любознательные дамы.

– Какое с казначейшей? старо с казначейшей!

– С кем же? с кем же?

Глаза вопросительниц сверкали нетерпеливым блеском.

– С Марьей Ивановной! – произносила Вера Антоновна и протяжно и торжественно глядела на всех.

– Ах!.. неужели?.. Боже ты мой!..

И восклицаниям и расспросам не было конца. Вера Антоновна как река лилась, после длинного монолога требовала пить и выпивала залпом графин квасу.

Фигура ее была так обширна, что нужно было дарить ей на два платья, чтоб вышло одно. Прихотям Веры Антоновны не было конца. В доме, где случалось ей принимать, она вмешивалась решительно во все: «Зачем люди долго спят? зачем повар дурной квас сделал? зачем мало работают в девичьей? У исправника-то люди с петухами встают, а у вас, Агафья Артемьевна, вместе с барами: право, таких людей даже и у городничихи нет, а что она уж за барыня!..»

Вера Антоновна заботилась очень о своем здоровьи; несмотря на страшную полноту, она считала себя худенькою, и если ей говорили: «а вы, кажется, поправились, Вера Антоновна», –

она крестилась и плевала, боясь глазу. – Что это вы, как можно! – возражала она, – да мне платья стали широки!

Аппетит у ней превышал всякое вероятие. Ела она почти каждую минуту и все находила, что отощала, – после ужина, на сон грядущий, съедала ежедневно десяток яиц, сваренных вкрутую. Она их очень любила, но спала от них неспокойно и со страху поднимала на ноги среди ночи весь дом. Ей все чудились воры, готовые ограбить ее; а надобно знать, что она все свои деньги, золотые вещи и ломбардные билеты возила с собою в тайном подвязном кармане, которого не снимала даже и на ночь. К довершению всего Вера Антоновна не разлучалась ни на минуту с двумя собачонками, гадкими и паршивыми, которых звала очень прозаически: Сашка и Дунька. Имя последней, как поговаривали в городе, было дано в пику Авдотье Петровне.

Мало-помалу вся аристократия уездного города оставила Авдотью Петровну; она призывалась только в неожиданных и роковых случаях. И тогда разносился слух по городу: «Слышали вы, какое несчастье случилось? за Авдотьей Петровной должны были послать! Но, слава богу, Вера Антоновна на другой же день приехала!»

Если Авдотье Петровне и случалось до конца пробыть у какой-нибудь важной дамы, то крестин не справляли и давали нелюбимой бабушке самую ничтожную плату.

Вот почему дом Авдотьи Петровны видимо разрушался: не было средств поправить его. Внутренность дома соответствовала наружности: низенькие, небольшие комнаты, с покосившимися потолками и полами, бедно меблированные, производили болезненное и грустное впечатление.

Ставни старого домика были закрыты. В комнате, мрачно освещенной, лежала женщина, довольно красивая, но страшно худая и бледная. Авдотья Петровна, в углу, мыла новорожденного, поминутно оглядываясь на больную. Проворно вымыв ребенка и запеленав его, она подошла к кровати и тихо сказала:

– Поздравляю вас с сыном.

Мать открыла глаза и с испугом оглядела комнату. Увидав Авдотью Петровну с ребенком, она болезненно вскрикнула, дрожащими руками схватила дитя и пристально взглянула ему в личико, потом распеленала его и радостно прошептала:

– Боже, ты услышал мою молитву!

И она начала осыпать своего сына поцелуями.

– Тише, осторожнее! вам вредно волнение, – говорила Авдотья Петровна, любуясь радостью матери.

– О, дайте мне на него насмотреться!.. Он не похож на своего отца!..

– И мать снова целовала сына.

– Успокойтесь! вы еще очень слабы; будет время налюбоваться! – говорила растроганная Авдотья Петровна.

Но мать сильно вздрогнула и дико закричала, прижимая сына к своей груди:

– Нет! он его не увидит! Пусть он лучше никогда не знает своего отца и своей матери!

– Что вы? как можно!

И Авдотья Петровна невольно схватила ребенка из слабых рук матери.

– Куда вы хотите его нести! – воскликнула мать. – О, ради бога, спрячьте его!

Она вскочила с постели, упала на колени перед Авдотьей Петровной и раздирающим голосом повторила:

– Спрячьте его! спасите его!.. он злодей, он убьет ребенка. Я готова умереть, только бы он не знал и не видал его. Спасите, спасите!..

Несчастная женщина с страшными криками упала на пол, и стоны наполнили комнату. Потом она вдруг смолкла и, лежа на полу с закрытыми глазами, тяжело дышала и вздрагивала. Авдотья Петровна плакала. Поцеловав ребенка, она бережно положила его на кровать, стала на колени возле матери и начала успокаивать ее:

– Хорошо, я все сделаю. Я знаю его: он способен на все. Но не убивайте себя, опомнитесь!

Тихо приподнялась мать, схватила руку Авдотьи Петровны и с жаром поцеловала ее.

– Ах, что вы? как можно!

И Авдотья Петровна покраснела; слезы потекли у ней по лицу. Мать сказала:

– Вы добры! вы знаете мое положение… Сжальтесь над бедным ребенком, сжальтесь надо мной… Видит бог я чиста: но его подозрения…

– Что же мне делать? чего хотите вы? – спросила Авдотья Петровна.

– Чего я хочу? – дико спросила мать. – Чтобы он не знал своего сына, которого он будет так же мучить, как мучил его мать. Чудовище злое и подозрительное, он… О, вы его не знаете!

– Говорят, он просто злодей, – невольно сказала Авдотья Петровна.

– А, вы теперь сами говорите, что он злодей? – воскликнула радостно мать. – Как же можно ему показать сына, когда еще до рождения несчастному ребенку готовились угрозы и страдания? Нет, нет! Вы поможете мне скрыть моего сына! вы сжалитесь над умирающей женщиной, которая вас будет благословлять как спасительницу ее ребенка!

– Если бы можно было, я рада бы помочь вам.

– О, время и возможность есть, только захотите. Я скрывала время своей беременности, и вы можете сказать, что я выкинула.

– Что же делать с ребенком? куда его девать?

– Да, вы правы: он всюду отыщет его, он украдет его у меня и скажет, что я виновата!

– У нас здесь в городе почти никого нет, кому бы подкинуть: житье ему будет плохое.

С минуту длилось молчание.

– Боже! благодарю тебя!.. – воскликнула вдруг больная и, скрестив руки, стала на колени и усердно молилась.

Окончив молитву, она твердым голосом сказала:

– Дайте скорее бумагу и перо.

Все было подано. Дрожа всем телом, Авдотья Петровна подвела больную к столу. Окончив письмо, больная подала его Авдотье Петровне.

– Прочтите: так ли я написала? голова моя горит; я не могу ничего обдумать, я худо вижу…

– Хорошо, – сказала Авдотья Петровна, – да к кому же?

– Вот и адрес к будущему отцу моего сына, – перебила больная.

Авдотья Петровна, прочитав адрес, радостно вскрикнула:

– О, ваш ребенок будет счастлив! Вы поручаете его судьбу самому доброму, благородному – и богатому человеку, какого только я знаю…

– Не правда ли? я могу умереть спокойно… Да, я умру, – тихо прибавила больная, приложив руку к своей голове: – посмотрите, как она горит: я вся горю… мне душно!

Больная начала метаться.

– Лягте, ради бога, лягте!

– Зачем мне беречь себя? чтоб снова терпеть горе и унижение? Зачем я буду жить, когда я бросаю своего ребенка? Нет, я не брошу его, не отдам… я не могу его отдать… Пусть он страдает вместе с своей матерью и пусть в страданиях узнает своего отца… Господи! за что я так несчастна?

И больная зарыдала.

– Полноте, не огорчайтесь! Вы можете расхвораться и наделаете мне хлопот, – сказала Авдотья Петровна, стараясь скрыть свои слезы,

– Простите, я виновата; но войдите в мое положение: я мать; понимаете ли вы, что значит быть матерью?

– Даже очень хорошо понимаю, – с живостью отвечала Авдотья Петровна, – и знаю, что ничего не может быть ужаснее разлуки с своим ребенком.

– А! вы тоже испытали такое несчастие? – спросила больная, и в голосе ее звучало удовольствие, будто радовалась она, что есть и еще женщины, разлученные с детьми.

– Кто же может сказать, что он не страдал? – отвечала Авдотья Петровна, покачав головой.

– А он? он никогда не страдал! иначе мог ли бы он так хладнокровно мучить других? Голос страдания достиг бы его ушей. Но он не знает, он не понимает его!

У Авдотьи Петровны недостало философии, чтоб продолжать такой разговор, и она спросила:

– А вы думаете теперь вашего сына отвезти?

Больная вскочила и кинулась к ребенку. Взяв его на руки, она дико закричала:

– Так рано? нет, я не отдам его, не отдам!

И она с жаром начала целовать ребенка.

– Хуже будет, если услышат плач; он может приехать за вами, ему донесут. Дайте мне его.

– Боже, боже! – простонала мать и, прильнув к сыну горячим лицом, обливала его слезами.

Авдотья Петровна взяла небольшую корзину; положив туда подушку и толстый шерстяной платок, она сделала люльку и робко сказала:

– Пора: благословите своего сына!

Мать крепко прижала ребенка к груди и отвечала жалобным голосом:

– Подождите! дайте мне на него посмотреть, дайте нацеловаться! Кто тебе заменит мать? – продолжала она, обращаясь к ребенку. – О, ты простишь ее? она несчастна, она умрет?

И мать положила своего сына на кровать и тихо опустилась перед ним на колени, будто прося у него прощения.

– Может быть, ты будешь счастливее в чужих руках, – говорила она, – я чувствую, что скоро умру, так не знай лучше никогда ни отца, ни матери! Пусть вечно охраняет тебя мое благословение (она перекрестила ребенка). Пускай достанутся тебе все радости, которых не знала твоя мать!

Голос ее все более слабел; утомленная ее голова упала на кровать. Авдотья Петровна тихо рыдала в углу. Услышав ее рыдание, больная приподняла свою отяжелевшую голову, бледными губами прильнула к теплому личику своего сына и потрясающим голосом сказала:

– Возьмите! возьмите его скорее, или я его не отдам!

И снова голова ее упала на кровать.

Авдотья Петровна положила ребенка в корзину и, перекрестясь, пошла к двери.

Больная приподнялась, она дико следила за движениями Авдотьи Петровны, пока та укладывала ребенка, и когда она пошла к двери, бедная мать стремительно кинулась к ней.

– А, ты украла моего ребенка?.. Помогите, помогите!

И несчастная с безумными криками вырывала корзину.

– Что вы? Бог с вами! не кричите: на улице услышат! – дрожащим голосом говорила Авдотья Петровна.

Но больная ничего не хотела слышать: глаза ее блестели страшным огнем. Она дико смотрела на Авдотью Петровну и повторяла отчаянно:

– Отдайте моего ребенка, отдайте!

– Возьмите! вы, кажется, забыли, каков его отец? – с упреком сказала Авдотья Петровна.

Мать вскрикнула. Отскочив от корзины, которую ей предлагала Авдотья Петровна, она прошептала испуганным голосом:

– Спрячьте, спрячьте его. Слышите, он идет, он его возьмет! Я погибла!.. О спасите же, спрячьте меня!

И несчастная бегала по комнате и пряталась.

Авдотья Петровна скользнула в дверь и заперла ее на замок.

Мать с диким криком кинулась к двери; она ломала ее и кричала:

– Отворите! моего ребенка украли! спасите!

Стук удалявшихся дрожек остановил вопли почти обезумевшей женщины; она вся затряслась и, когда стук дрожек замер, отчаянно вскрикнула: – Уехал! – и упала без чувств у дверей…

В одном большом селе, широко раскинувшись на невысоком холме, стоял огромный барский дом с дремучим садом. Длинные службы в несколько рядов, как крепостные стены, тянулись за домом. В августе месяце, вечером, часов в девять, луна бросала печальный свет на темный сад и черную массу дома, на стене которого фантастически рисовались громадные деревья. Обильная роса покрывала влажную траву; блеск луны, отражаясь всюду, играл на листьях деревьев, которые таинственно перешептывались в пустынном саду, и менял рисунки на стене, как кабалистические знаки в каком-нибудь волшебном замке. Медленно, лениво катилась луна, окруженная легким паром, по прозрачному далекому небу.

Прямо светила она в мрачные, запотевшие окна, осеребряя их и еще резче выказывая массивную и старинную архитектуру дома. Отдаленный лай собак изредка нарушал тишину; эхо звонко раздавалось и медленно замирало в чистом воздухе.

За кустами сирени и жимолости едва виднелся слабый свет, выходивший из окна небольшой комнаты, убранной очень просто; по меблировке нельзя было определить ее назначения.

На широком диване лежал мужчина лет тридцати пяти, крепко сложенный, с благородным и привлекательным лицом; но в его взгляде, во всех его движениях выражалась бесконечная апатия. В руках держал, он книгу, которая, казалось, тяготила его. Выкуренная трубка с огромным янтарем была у него в зубах. На столе, возле дивана, лежало несколько книг и стоял низенький подсвечник с зеленым колпаком, бросавший яркий свет на нежные руки и чистое белье полусонного мужчины, но оставлявший в тени его лицо. На полу возле дивана спала большая лягавая собака. Вероятно, тревожили ее неприятные сны: она по временам визжала и вздрагивала; тогда мужчина, лежавший на диване, кричал: – Фингал! – Собака приподнимала голову и сонно-красными глазами смотрела на своего господина, готовая приветствовать его ласковым виляньем хвоста. Но, не получая ни ласки, ни приказания, не удостоенная даже его взгляда, она опускала голову и хвост, тяжело вздыхала и снова своим храпом нарушала тишину.

Несколько ружей торчало в разных углах комнаты, посреди которой стоял токарный станок, окруженный опилками, свидетельствовавшими о недавней работе. Микроскоп, разобранный, лежал на столе у окна. Все доказывало, что обладатель этой комнаты старался развлекать себя. Но как бы утомясь или соблазненный сладким сном своего Фингала, он уже не перевертывал листов, рука крепко еще держала книгу, но скатилась, – трубка оставалась около губ. Ровное и мерное дыхание вылетало из его широкой груди; тихо колебалась на груди тонкая, слегка накрахмаленная рубашка.

Так прошло несколько минут. Дверь тихонько раскрылась, и мальчик лет четырнадцати проворно, но тихо вошел в комнату, с серебряным подносом, на котором стоял стакан с чаем.

Подойдя к дивану, он в недоумении остановился, глядя на спящего барина. Собака при первом шорохе открыла глаза, но тотчас снова спокойно закрыла их. Убедясь, что барин не может заметить его присутствия, мальчик сказал: «Чай готов-с!» Мерное и ровное дыхание не прерывалось. С отчаянием глядел мальчик то на спящего барина, то на стакан. Мимо его носа вдруг порхнула бабочка и стала кружиться около Огня. Мальчик лукаво следил за ее полетом и радостно улыбнулся, когда она, коснувшись свечи, вдруг села на стол, тоскливо забила крылышками, прильнула к столу головкой и в изнеможении упала, – потом, будто очнувшись, отчаянно забилась, осыпая стол белой пылью.

Мальчик с наслаждением упивался мучениями бабочки и каждый раз, как она переставала биться, трогал ее пальцем, и бабочка снова кружилась и вертелась страшно. Тихо скатив-

шаяся из ослабевшей руки барина книга прекратила мучения бабочки и потеху мальчика; он повторил: «Чай готов-с»; ответа не было. Мальчик вышел и через несколько минут возвратился с новым стаканом чаю, из которого валил пар. Та же история повторилась; мальчик уже начинал приходить в отчаяние, когда вдруг скрипнула дверь: высунулось женское лицо в чепчике с длинной фалбалой и жалобно прошептало: «Петрушка!..» Мальчик повернулся к двери и отрицательно мотал головой. Выставилась рука и манила его к себе.

– Что вам? – спросил он.

– Поди сюда! скорее! – задыхаясь, шептала женщина.

Мальчик показал головой на барина и на поднос и прибавил:

– Видите, не могу!

– Петрушка! что ж ты? я тебе говорю, скорее! – сердито воскликнула женщина, забыв всякую осторожность, и вошла в комнату.

Ей было лет под шестьдесят, но она была еще бодра; приятное лицо ее выражало сильную тревогу. Огромная увязка ключей, висевшая на чистом, белом переднике, обозначала ее должность.

Мальчик, недовольный появлением ключницы, сказал:

– Что это вы? не видите, барин спит!

– Вижу, дурак! ты что не идешь, когда зовут? – шепотом возразила ключница.

– Как же я брошу чай?

– Когда велят, мужик ты, так иди!

Она с досадой выхватила у него поднос. Ложечка со звоном упала на пол. Собака заворчала и открыла глаза – в одно время с барином.

Барин потянулся, осмотрел комнату и остановил глаза на ключнице, которая, остолбенев от испугу, стояла неподвижно, с искаженным лицом.

Мальчик улыбался так же радостно, как несколько минут назад, когда бабочка обожгла крылья.

– Что вам нужно? – спросил барин с изумлением, которое ясно доказывало редкое появление ключницы в его комнате.

В ответ, задыхаясь от волнения, ключница произнесла: – Ах, сударь! – и лицо ее приняло такое отчаянное выражение, что встревоженный барин встал и быстро спросил:

– Что такое? не пожар ли? не ушибся ли кто?

– Ах, какое несчастье!

– Да что такое случилось? – с сердцем спросил барин.

– Извольте встать и выйти в сени. Ах, боже ты мой, боже ты мой!

– Как вы надоели с вашими восклицаниями!

И барин скорыми шагами пошел к двери; собака последовала за ним, потягиваясь и зевая; мальчик и ключница заключили шествие.

– Посвети! сюда пожалуйте! – говорила болезненным голосом ключница.

Мальчик взял свечу и пошел вперед. В темных сенях, в углу, стояла хорошо закутанная корзина, и тихий плач раздавался из нее.

– Что это? – спросил барин.

– Ах, кажись, ребенок! Боже, какой грех! какой грех!

– Как попал он сюда?

– Вот изволите видеть: я разливаю чай и слышу какой-то странный писк; думаю: верно, кошка забралась и мяукает. Отпустив чаю вашей милости, я думаю, дай пойду выгоню – кошку; вышла в сени да и говорю: брысь, проклятая! не идет; я отворила дверь – глядь: корзина; думаю: на что тут корзину поставили?

– Сейчас, что ли, вы услышали плач?

– Только вот чай вашей милости отпустила, да и думаю: выгоню проклятую кошку, ан глядь – корзина! я и думаю: верно, с угольями кто занес!

– А не видали ли вы в окно кого-нибудь?.. Ведь вы сидели у окна? – спросил барин.

– Когда я шла сюда, в сенях никого не было. А бог их знает, может и видела, как прошел кто, да думала свои…

Между тем любопытная собака обнюхивала корзину.

– Тубо[1] Фингал! – закричал барин на собаку и, обратясь к ключнице, приказал внести корзину в комнату.

Незаметно и тихо в двери сеней и в окна глядела сотня глаз; беготня была страшная на дворе. Лакеи один за другим появлялись в комнату. Корзину развязали: в ней лежал только что родившийся ребенок, весь красный и сморщенный… Он вертел головкой и искал губами грудь, жалобно пища.

– Ах, владыко! какой здоровый ребенок! – в восторге вскрикнула ключница, вынув его из корзины.

При этом движении письмо упало на пол.

– Что это? письмо?

И барин указал головою на бумагу.

Множество рук протянулось; одна из них, огромного размера, подняла письмо и подала его барину; барин прочитал вслух:

> *«Всем, что для вас есть святого, заклинаю вас, призрите сироту. Он законнорожденный; но страшные обстоятельства заставляют мать просить вас заменить этому несчастному ребенку родителей. Я уверена, что он будет счастлив, если вы не отвергнете его. Об этом умоляет вас умирающая мать…*
>
> *179*, августа 17».*

Ключница внимательно слушала чтение, укачивая ребенка; она положила ему в ротик свой палец, и ребенок с жадностью сосал его. Окончив чтение, барин печально посмотрел на ребенка и сказал:

– Бедный, – что я буду с тобой делать?

– Призрите сироту! вам бог пошлет на его долю! – прослезясь, сказала ключница.

– Хорошо, хорошо… разумеется, не кину его.

– Посмотрите, какой славный мальчик! Есть хочет! – радостно сказала ключница, любуясь, как ребенок тормошил ее палец.

– Взять кормилицу, – сказал барин.

– А на рожке?.. право, я его славно выкормлю на рожке.

– Нет, что за вздор! Нет ли кого с грудным ребенком во дворе? пусть кормит двух.

– Матрену… у ней муж на днях умер, одна, как перст, с ребенком, плачет, сердечная! Вот ее и возьмем.

– Ну, пусть кормит… А если нет своих, так из чужой деревни нанять.

– Господи! как можно! – с испугом возразила ключница. – Да у нас, право, так много родят в дворне, что…

– Хорошо, – перебил ее барин, – распорядитесь поскорее; отдаю ребенка на ваши руки: смотрите за ним хорошенько, как за моим сыном.

Дворовые люди переглянулись; ключница обиделась.

– Как можно! – возразила она. – Как за вашим сыном?.. – Она остановилась и потом робко договорила: – Может статься, и неблагородный.

---

[1] Спокойно.

– Все равно, я вам приказываю! – строго сказал барин и пошел. – Пришлите мне чаю, только горячего, – прибавил он, приостановясь в дверях…

Вопросы, восклицания, оханья, аханья наполнили комнату. Ключница каждому порознь рассказывала с мельчайшими подробностями, как и что она думала.

Барин тоже с своей стороны на минуту задумался; он несколько раз читал письмо, и в лице его мелькали и сменялись мысли… Он напился чаю, выкурил трубку, походил, подумал, снова лег и стал читать. Собака уже спала по-прежнему, и скоро полная тишина воцарилась в комнате. Барин тоже задремал. Только огромная муха, неистово жужжа и стуча в стекло, нарушала тишину барского дома.

Часть первая

Глава I
Шутка



183* года, в августе, утром, часу в десятом, Каютин проснулся и почувствовал страшный холод. Члены его тряслись как в лихорадке, а зубы стучали. Он попробовал плотнее закутаться в халат, заменявший ему одеяло, закрыл даже голову: напрасно! Раскрыв голову, он стал думать о причине такого неестественного холода, продолжая дрожать всем телом. Вместе с ним дрожит, казалось ему, и вся комната; маленький столик перед кроватью танцует, а графин и стакан, поставленные на столике рядом, издают жалобные непрерывные звуки; ширмы, оклеенные бумагой, выгибаются и рокочут, беспрестанно угрожая обрушиться на продрогшего Каютина. И вместе с тем вокруг него такой шум и грохот, как будто экипажи едут не по улице, а в самой его комнате, тотчас за ширмами. Каютин сначала подумал, что ему так кажется со

сна; но синие, окоченелые пальцы, которые он на минуту поднес к своим глазам и потом тотчас спрятал, будто обожженные, громко говорили противное.

«Ну, так у меня просто нервное расстройство», – подумал Каютин.

Но звонкий и явственный говор, раздавшийся в ту минуту за ширмами, прекратил его размышления; он весь обратился в слух.

– А ты купи веревочные да смажь ворванью – ей-ей сойдут за ременные! – говорил один голос.

– Оно так, голова, да, вишь, ременные-то нарядней будут, – кричал другой.

«Что за путаница?» – подумал Каютин.

– Рыба жива! – гаркнул вдруг резкий, отрывистый бас над самым его ухом, так громко и неожиданно, что Каютин вскочил на своей кровати и с минуту сидел, как ошеломленный.

– Ремни… веревки… живая рыба в моей комнате! – закричал он неистовым голосом.

– Стой, стой, стой! Где у те глаза-то? В кабаке пропил? Вишь, толстый пес, – сидишь, не видишь, на человека наехал…

– А ты не иди среди улицы… знай свой тротуар, французская сосулька!..

Такие речи продолжали оскорблять благородный слух Каютина, пока он наскоро одевался.

Жалкое зрелище представилось его глазам, когда он, дрожа и кутаясь как можно плотнее в халат, вышел из-за ширмы в свою комнату.

Надо признаться, что и вообще комната его не представляла великолепного зрелища… Стены ее, впрочем, когда-то были окрашены зеленой краской, а потолок расписан (такое уж убеждение господствует у наших домохозяев, что как бы ни была плоха и дешева квартира, но потолок непременно должен быть расписан); пол тоже когда-то был выкрашен. Письменный стол, несколько плетеных стульев, голландский диван, с которого, неизвестно почему, тотчас вскакивали с неприятным восклицанием все пробовавшие на него присесть, наконец известные ширмы, за которыми помещалась кровать хозяина, – вот вся мебель комнаты.

– Разбойник! – воскликнул молодой человек, окинув глазами свою комнату.

Он остановился среди пола, с поникшей головой, в глубоком раздумье.

Каютин был очень хорош собой; но, взглянув на него в ту минуту, трудно было не расхохотаться: так плачевна была его фигура!

– А я думал, – продолжал Каютин после долгого молчания, – что он шутит! Вот тебе и шутки!

И он подошел к единственному окну своей квартиры. Осенний утренний ветер, покачнув старую запыленную герань и зашелестев листьями золотого дерева, пахнул ему в грудь таким резким, свежим холодом, что не было уже никакого сомнения в горькой действительности: рама выставлена!..

Первым делом Каютина, когда он несколько успокоился, было собрать и спрятать свои бумаги, сброшенные ветром на пол с письменного стола; потом он хотел одеться и итти к хозяину браниться. Но, к удивлению и ужасу своему, он не нашел своего платья, которое, возвратясь вчера очень поздно домой, наскоро сбросил и оставил на своем голландском диване, спеша добраться поскорей до кровати. Выбранив опять хозяина, он отворил дверь в сени и стал кричать, подняв голову вверх, по направлению небольшой деревянной лестницы: «Хозяин! хозяин!» Но никто не являлся на его крики. Он стал кричать громче – напрасно! Тогда, потеряв терпение, он воротился в свою комнату, взял длинный чубук, стал на стул и начал стучать изо всей силы в потолок, сопровождая каждый удар ужасными криками: «Хозяин! хозяин!»

Но хозяин не являлся…

«Спит старый хрыч!» – подумал Каютин и усилил свои удары и крики – и то напрасно!

«Нечего делать, надо итти к нему… а тут, пожалуй, еще что-нибудь украдут… да, впрочем, что украсть-то?»

Он невольно улыбнулся и весело стал подниматься по деревянной лестнице… Великим, завидным благом в жизни обладал Каютин: живым, беспечным, великодушным характером, который не давал ему останавливаться долго ни на какой неприятности. Озадаченный в первую минуту, теперь он уже находил свое приключение не более как забавным, и сам первый готов был над ним смеяться.

Когда широкий путь открыт перед нами, когда много у человека впереди, легко переносятся мелкие несчастия и неудачи – в надежде будущих благ. Так точно охотно сознается человек в мелочных недостатках и ошибках своих, пока еще надеется в будущем проявить громадную силу. Но нелегко переносит и мелочные неудачи тот, кто уже понял, что вся жизнь его заключена в мелочах; но несносно мелочно и раздражительно самолюбие тех, в ком бесплодные попытки поселили уже недоверие к собственным силам.

Хозяин Каютина, Афанасий Петрович Доможиров, владелец одноэтажного деревянного дома с мезонином, вел жизнь примерную. Он обладал любящим сердцем. Овдовев в средние лета, он сосредоточил значительную часть любви своей на единственном сыне, которому был теперь уже десятый год; но так как любви еще оставалось довольно в его сердце, то он завел себе трех скворцов, которых клетки стояли рядом на огромном венецианском окне его квартиры, выходившем на улицу; небольшой оставшийся затем запас любви отдал дымчатой кошке с четырьмя разношерстными котятами, и ежу, который большую часть дня спал за печкой, свернувшись в клубок, а ночью отбивал практику у кошек, свободно расхаживая по всей квартире с свойственным его ежовой походке громким и мерным постукиваньем.

Понятно, что и самая жизнь Афанасия Петровича, естественно, устраивалась приятнейшим образом: большая часть ее проходила в наставнических занятиях. Накушавшись чаю, который имел обыкновение разливать сам, он звал сына. Сын брал любимую книгу Доможирова: «Генеральный смотр совести Наполеона, или беседа Наполеона с совестию, с присовокуплением стихов, под названием: „Посрамленный Завоеватель света, или неистовый Корсиканец в своем унижении“» (1813). Начиналось ученье. Сын читал по складам, с помощью указки, а отец принимал глубокомысленную физиономию, которую сохранял во все продолжение класса, хотя и чувствовал оттого ломоту в бровях. Иногда на стол вскакивал резвый котенок, садился на задние лапы и с изумлением следил за движением указки, дотрагиваясь до нее лапкой. Тогда и отец и сын забывали свое дело и с умилением любовались проказами грациозного котенка. Как ни важно казалось Доможирову воспитание сына, нежное сердце его брало свое; он заигрывал с котенком, кидал ему скомканную бумажку; котенок прыгал, Доможиров тоже начинал прыгать, присев на корточки; сын следовал его примеру; скоро к общей беготне присоединялись и другие котята: все прыгало, не исключая и встревоженных скворцов, которые поднимали страшную возню в своих клетках. Только еж хранил обычное спокойствие и безучастно смотрел из своей лазейки, строго поводя своей остренькой мордой.

«Посрамленного Завоевателя» забывали.

Погладив любимых котят, пощипав неловких и непослушных, Доможиров настраивал свою физиономию на веселый лад и начинал посвистывать и попевать. Скворцы любовно вторили ему. Сына Афанасий Петрович учил только тому, чему сам учился: истории, катехизису и русской грамматике; но, видно, он почитал свои знания в иностранных языках достаточными для скворцов, потому что, окончив насвистыванье и напеванье, обыкновенно начинал, нагнувшись к клеткам, громко и явственно произносить все знакомые ему французские и немецкие слова… И так продолжал он до той поры, пока какой-нибудь скворушка не издавал звуков, похожих на «ко-ман-ву-пор-те-ву»[2] или «бон-жур»…[3] Тогда, в гордом сознании, что день не потерян, Афанасий Петрович клал на окно красную сафьянную подушку и из учителя обра-

[2] Как вы поживаете?

[3] Здравствуйте.

щался в ученика, обогащая свой любознательный ум наблюденьями. Случалось (и очень часто), хозяйка противоположного дома, толстая, краснощекая женщина, тоже сидела у окна, и тогда у них завязывался через улицу разговор.

– Как говядина вздорожала, Афанасий Петрович, просто подступу нет!

– Вот, – говорит Афанасий Петрович, не упускавший случая выказать прочность своего благосостояния, – копейку на фунт прибыло, так вы уж и охаете… Побойтесь бога, матушка… Что мы, нищие, что ли?

– Ну и не миллионщики, Афанасий Петрович…

– Кто говорит, Василиса Ивановна! только, по мне, знаете, я даже рад: пусть бедный торговец пооперится.

Афанасий Петрович любил озадачивать неожиданно, почему пускал иногда в ход мнения, которых не разделяв в глубине души.

– Что вы, Афанасий Петрович, побойтесь бога! ведь они разбойники!

– Ну, есть разбойники, есть и не разбойники, – глубокомысленно замечал Доможиров.

Но тут раздавался грохот экипажа, и разговор быстро переменялся.

– Вишь, расфрантилась! – говорила хозяйка, провожая глазами проехавшую даму.

– Ну уж и расфрантилась! – возражал одержимый духом противоречия Доможиров: – просто одета, как быть должно. Посмотрели бы вы, как рядятся… Вот я намедни был в Павловске, у тещи…

И Доможиров принимался описывать павловское гулянье. После обеда Доможиров непременно спал, а по вечерам читал своему ежу правила терпимости и общительности; но суровый еж упорно презирал котят и открыто предпочитал их обществу гордое одиночество.

Но возвратимся к рассказу.

Ни проклятий, ни стуку, ни криков Каютина Доможиров не слыхал: он сам кричал в то время не тише его, погруженный в преподавание иностранных языков скворцам своим. Он даже не слыхал шагов Каютина, раздавшихся в его комнате, выкрикивая: ко-ман-ву-пор-те-ву!

И Каютин повторил за ним тем же тоном: ко-ман-ву-пор-те-ву! и тронул его за плечо:

– Что вы? – закричал Доможиров, вздрогнув и обернувшись к нему. – Собьете! Птица нежная, чужого голоса не поймет, да и робка…

– Что вы?.. Я ничего… а вы что?.. – начал Каютин полушутливым, полусердитым тоном, в котором в то же время слышалась детская наивность; придававшая особенную прелесть его разговору. – Вы бога не боитесь! что вы со мной сделали?

– Раму выставил.

– А зачем?

– Я вам говорил: отдайте деньги или съезжайте, а не то раму выставлю.

– Съезжайте! вам легко сказать: съезжайте, – сказал Каютин и посмотрел как-то особенно на верхние окна противоположного дома.

– Ну, так деньги отдали бы…

– Деньги! Ну, что вам мои деньги? Пропадете, что ли, без моих сорока рублей? а?

Доможиров молчал.

– Ведь у вас дом свой, незаложенный, и прошлый год только каменный фундамент подвели… Ну, говорите, так или нет?

– Ну, так.

– Ив доме все слава богу, всего вдоволь! и сын в науках успехи оказывает, и скворушки говорить начинают, и еж здоров… здоров?

– Здоров.

– И капиталец в ломбарде лежит порядочный, и долгов нет?.. и кланяться ни за чем к чужим людям не пойдете?..

– Да, – самодовольно отвечал Афанасий Петрович, задетый за чувствительную струну.

– Ну, так что же для вас мои сорок рублей!.. сущая дрянь! Ну, говорите, дрянь?

– Дрянь, – тихо и неохотно отвечал Доможиров.

– Так зачем же вы раму-то выставили?

– Я пошутил, – сказал Афанасий Петрович, которому становилось совестно.

– Пошутил! хороша шутка! А у меня вот, по вашей милости, платье украли, только и осталось…

Не успел он указать ему на свой халат, как господин Доможиров залился громким хохотом. И он хохотал минут пять сряду так добродушно и сладко, что, глядя на него, и Каютину, который в первую минуту почувствовал было досаду, сделалось весело.

– Перестаньте! вы скворцов испугали! Вон они как закричали и запрыгали, точно шальные!

– Так ничего, кроме халата, и не осталось? – спросил Доможиров, сдерживая смех.

– Ничего.

И Доможиров опять покатился. В самом деле, случай был редкий. Давно уже ему не удавалось сыграть такой шутки. Доможиров действительно был добрый человек, но он любил «пошутить», и шутки его не отличались особенной разборчивостью и деликатностью. Раз, когда он еще служил, его пригласили на свадьбу в. деревню. Женился его дальний родственник на бедной девушке, гувернантке своего соседа. Когда невесту одевали к венцу, вдруг явился Доможиров с маленькой девочкой, одетой по-крестьянски. Он подвел ее к невесте и сказал: «Вот, рекомендую вам, сударыня, дочь вашего будущего мужа». Невеста упала в обморок, а Доможиров залился добродушнейшим хохотом, подперши бока. В другой раз племянник подбежал к нему и в восторге бросился ему на шею, крича: «Ах, дядюшка! если б вы знали мое счастье! Поздравьте меня! я женюсь, жду только отпуска, – чтоб ехать в Москву. А покуда вот ее портрет – она мне прислала… не правда ли, красавица?..» – И он с восторгом поцеловал миниатюрный портрет своей невесты и показал его дяде. «Дай мне его на минуту», – сказал Доможиров. Он вышел с портретом в другую комнату и через минуту возвратил молодому человеку портрет с выколотыми глазами. Случилось также, что к Доможирову зашел его закадычный друг, когда он переливал стоградусный спирт. «Что, ты водку переливаешь?» – «Водку; не хочешь ли?» Закадычный друг ободрал себе глотку, краснел и таращил глаза, страшно кашляя, а Доможиров хохотал, как сумасшедший…

Вот какого рода шутник был Доможиров. Но в настоящем случае он вовсе не ожидал такого эффекта. Возвратясь домой часу в десятом вечера и заметив, что молодого человека нет еще дома, он подумал, как бы удивился Каютин, если б, пришедши домой, застал у себя раму выставленною. И вот уморительная картина нарисовалась в воображении Доможирова: Каютин просидит всю ночь, не смыкая глаз и сторожа свое добро, порядочно продрогнет, – а поутру придет к нему, покричит, посердится; он предложит ему чайку, молодой человек согреется и сам станет вместе с ним смеяться его остроумной выдумке. А потом раму можно опять вставить. К чести некорыстолюбивого сердца Доможирова нужно прибавить, что сорок рублей вовсе не входили в его соображения. Но план шутки так ему понравился, что он тут же привел в исполнение свою мысль, к чему не представилось ему никакого затруднения, потому что Каютин перестал с некоторого времени брать ключ с собой, а клал его в щель под дверью, о чем знал и Доможиров. А почему Каютин перестал с собой брать ключ, не худо принять к сведению всем бедным молодым людям, живущим без семьи и прислуги.

Раз Каютин провёл вечер чрезвычайно приятно в одном большом доме на Невском проспекте, у знакомого ему важного и богатого человека, – вечер с музыкою, танцами, ужином и шампанским. В отличном расположении духа, но очень усталый, часу в четвертом ночи, возвращался он пешком (денег на извозчика не было) на свою Петербургскую сторону, едва пересиливая дремоту. И вот, наконец, добрался он до своей двери и опустил руку в карман за ключом, думая о близкой минуте успокоения. Но, обшарив все карманы, он не нашел ключа! По

всей вероятности, ключ выпал из кармана его пальто и очень спокойно лежит теперь в прихожей богатого дома на Невском проспекте… Делать нечего! Каютин воротился, перебудил всех людей в доме: ключ действительно нашелся в прихожей под вешалкой, – и только к восьми часам утра, совершенно измученный, воротился Каютин домой… Почти с такого же вечера, в таких же обстоятельствах и в таком же отличном, но полусонном состоянии пришел Каютин к своей двери и в ту роковую ночь, наутро которой началась наша история. Но как ключ был под дверью, то он беспрепятственно вошел в свою квартиру, с полусомкнутыми глазами разделся на своем голландском диване и поскорей отправился за ширмы, где и проспал благополучно до самой той минуты, когда почувствовал неестественный холод и послышал стукотню собственных зубов.

– Ну, извините… извините, – говорил Афанасий Петрович: – я никак не думал, что вы не заметите.

– Извиняю, – сказал Каютин торжественно. – Только научите, что мне делать? мне не в чем вытти!

– Наденьте мой фрак, – добродушно сказал Доможиров и опять покатился, пораженный несообразностью своего предложения: Каютин был высок и худ, а Доможиров низок и широкоплеч.

– Нечего с вами делать! – сказал Каютин, немного рассерженный. – Пойду рыться в своем чемодане: не найду ли чего в старом платье…

И он ушел.

Глава II
Пустая причина породила важные следствия

Едва вытащил Каютин на середину своей комнаты старый, запыленный чемодан и принялся его расшнуровывать, как послышался стук в дверь.

– Войдите! – закричал он, а сам убежал за ширмы.

В комнату вошла девушка лет семнадцати. Черты лица ее были благородны и привлекательны, необыкновенной белизны лоб, резко оттененный свежестью щек, нежный носик, будто выточенный искусным художником из слоновой кости, большие черные глаза с длинными, густыми ресницами, рот удивительной формы, особенно выигрывавший при улыбке, когда сверкающая белизна зубов разительно выказывала яркость ее губ и чудную их форму: такова была вошедшая девушка. Небогатый костюм ее отличался безукоризненной чистотой и грацией: ловко сидел на ней темный шерстяной бурнус, отлично сшитый, и простенькая соломенная шляпка с синими лентами, положенными крест-накрест, удивительно шла к ее хорошенькой головке.

В маленькой красивой ручке держала она узелок, завязанный в фуляр. Ее узенькие ножки обуты были очень тщательно, что невольно вас поражало.

– Кто там? – спросил Каютин из-за ширмы.

– Я, – отвечала она гармоническим голосом.

– Ах, Полинька! голубушка! как я рад!

– Скажите, что у вас делается?

– Ах, ужасные вещи!

– Да вы живы?

– Жив!

– И здоровы?

– Здоров… Представьте, мой хозяин… Знаю: раму выставил… Я иду от Надежды Сергеевны, посмотрела на ваше окно: рамы нет; я испугалась.

– Чего ж бояться!

– Да покажитесь!

– Нет, нельзя.

– Ну, так я уйду. А вы приходите ко мне: я кофею приготовлю.

– Ах, ужасная жажда!.. Мы вчера ужинали, нас было много; пили… я за ваше здоровье выпил…

И Каютин остановился.

Лицо Полиньки нахмурилось; она тяжело вздохнула.

– Полинька! Палагея Ивановна, – с испугом закричал Каютин.

Она молчала.

Он проткнул немного ширму и посмотрел на ее задумчивое лицо. Полинька развеселилась, увидав его глаз.

– Зачем вы ширму разорвали?

– Чтобы вас видеть… Ах, как мне хотелось вас видеть! Разошлись мы часу в третьем ночи; я и пошел бродить мимо окон Надежды Сергеевны: часа три ходил, – все думал вас увидеть; мне так много, так много хотелось сказать вам.

Глаз Каютина исчез. Ширмы затрещали; сделав в них окошечко, он высунул голову и сказал: «Здравствуйте!» Она подошла поближе.

– Полинька, голубушка, поцелуйте меня!

– Вот прекрасно! с какой радости я буду вас целовать!

– Бедный я, несчастный! – начал жалобным голосом Каютин. – Никому-то меня не жаль… Ничего-то у меня нет… все украли… И Полинька на меня сердится!

– Украли? – с испугом спросила Поленька. – Да говорите же!

– Вот прекрасно! с какой радости я буду вам говорить!

Полинька подставила ему свою розовую щечку, но так далеко, что, как ни вытягивал он свои губы, все безуспешно.

Полинька смеялась громко и весело. Каютин сердился.

– Нехорошо, Поля, смеяться так; а еще меня упрекала в веселости!

– Я вас упрекала в ветрености, а не в веселости. Да кто же вам мешает? Извольте, я позволяю!

И Полинька лукаво нахмурилась и опять подставила щеку; но при новой попытке Каютина ширмы затрещали и покачнулись на Полиньку. Она в испуге отскочила, с криком: «ай, уроните!»

– Проклятая ширма! – сердито сказал Каютин.

– Да скажите мне лучше, отчего вы не можете одеться? – спросила Полинька и совсем неожиданно поцеловала его.

– У меня платье украли, – весело отвечал Каютин.

– Новое? – с испугом перебила Полинька.

– Новое.

И он рассказал ей свое приключение.

– Ах, бедненький! да ты, я думаю, страшно перезяб…

– Ах, озяб, да… ужасно озяб, – отвечал он, вспомнив свое пробуждение.

– Надень мой бурнус.

– Нет, зачем? теперь я согрелся; ты озябнешь.

– Я не провела целой ночи на холоду.

И Полинька стала снимать бурнус.

– Не надо, Полинька; ей-богу, мне тепло… Ты вот только… подойди опять поближе…

И он протянул губы; но Полинька не слушалась его.

– Ах, какое платьице! ах, какая ты хорошенькая! – закричал он в восторге, когда Полинька сняла бурнус, – Ну, полно же… ну подойди же… поцелуй… Ведь ты сама сказала, что я бедный: так утешь же меня!

– Выходите сюда, – сказала Полинька и перекинула ему через ширмы бурнус.

Каютин весело выбежал из-за ширм в ее бурнусе. Он остановился перед ней, положил руки на ее плечи и долго смотрел на нее молча. Много любви и счастья выражал его взгляд. Полинька тоже смотрела на него не бесчувственными глазами.

И вдруг обоим им стало грустно. Светлое выражение их глаз помутилось. Они еще продолжали смотреть друг на друга, как у Полиньки навернулись на глазах слезы. Может быть, одна и та же мысль пришла им в голову в одно время, – мысль, что прекрасное их счастье, которое теперь в их руках, они губят сами, что как неделю, месяц, полгода тому назад, так и теперь положение их столько же неопределенно, что бог весть когда оно определится… и что время, золотое, невозвратное время, идет!.. По-крайней мере, Каютин не сомневался, что такие мысли отуманили светлые глазки Полиньки. Он хорошо подметил за минуту, сквозь отверстие ширм, задумчивое, грустное выражение ее лица… Теперь лицо ее было еще печальнее. И, глядя на нее, Каютин внутренно содрогнулся: совесть громко заговорила в нем…

Бывают, минуты, когда сознание недостатков своих, упреки самому себе, забытые, снова данные и снова забытые обеты, – все, что в обыкновенную пору урывками и понемногу тревожит и тяготит нашу совесть, – все просыпается вдруг и начинает говорить в душе разом. Такая минута настала для него.

– Полинька, – сказал он, встав перед ней на колени и пожимая ее руку, – Полинька! ты молчишь; но я знаю, что ты теперь думаешь… Знаю, что думаешь ты всякий раз, когда вдруг лицо у тебя нахмурится и слезы засверкают в глазах… знаю, сколько упреков, горьких, справедливых, убийственных, кипит тогда у тебя на душе. Но ты добра, ты великодушна: ты молчишь… И не говори… я сам знаю… я ужасный человек, я злодей. Помнишь, когда я вымолил у тебя твою руку, я клялся, что буду всеми силами трудиться, чтоб устроить нашу жизнь, что непременно устрою ее… и через несколько дней я забыл свою клятву… я двадцать раз обещал тебе приняться за дело, искать себе работы, ехать куда-нибудь, ехать хоть на край света, только бы зарабатывать деньги, – и на другой день, много на третий, я все забывал!.. Вот еще вчера пошел я с такими прекрасными мыслями: получу деньги, расплачусь с долгами, примусь за дело… воротился…

– Зато прогулялся мимо окон Надежды Сергеевны! – перебила Полинька, улыбаясь сквозь слезы.

– О, я ужасный человек, Полинька! – продолжал Каютин в совершенном отчаянии. – Я недостоин тебя… я не стою твоего прощения… ты никогда не простишь меня!..

– Ты ни в чем не виноват, – тихо сказала она и провела рукой по его волосам…

– Не старайся утешить меня, не обманывай меня… я ведь знаю: ты все видела, ты страдала, но не хотела говорить; только личико твое становилось иногда так печально, слезы навертывались на глаза. Но не думай, чтоб я не замечал ничего: мне прямо на душу падали твои слезы, у меня на душе отзывались они. Они меня теперь душат, разрывают меня, Полинька… только теперь я почувствовал, что я делал, как губил и твое и мое счастье… Слушай же, Полинька!

И он поднял голову и посмотрел на нее. Взгляд его выражал чистосердечное раскаяние и твердую, непоколебимую решимость. Она стояла не шевелясь, с заметным усилием сдерживая рыдание…

– Я был ветреник, дурак, эгоист! я был недостоин тебя… Но я теперь другой человек! Клянусь тебе, Полинька, клянусь моей жизнью, моей честью, любовью к тебе, я буду другой… Я исполню твою молчаливую просьбу, которую читал я в глазах твоих всякий раз, как возвращался с пирушки, как просиживал целые дни, недели и месяцы сложа руки. Я исполню клятву, которую ношу в своем сердце с той минуты, как увидел тебя: я сделаю тебя счастливою!.. Я соберу все мои силы, – буду работать без сна и без отдыха, добьюсь, что жизнь наша будет обеспечена, счастье наше будет упрочено!.. Полинька! – заключил он, подняв к ней умоляющий взгляд: – угадал ли я твои мысли? успокоил ли я тебя сколько-нибудь? веришь ли ты мне?

Она упала ему на грудь и зарыдала. Но рыдания ее были сладки и успокоительны: она ему верила, верила столько же, сколько сам он в ту минуту верил своим обетам и надеждам…

Сидя на полу бедной комнаты, где старый чемодан заменял им кресла, они плакали, пожимали друг другу руку, сквозь слезы улыбались друг другу. Наконец утихло их волнение, так внезапно вспыхнувшее и столь бурное. Тогда они стали спокойнее говорить о своем положении.

– В Петербурге мне нет счастья, – говорил Каютин. – Да в Петербурге я и не могу серьезно работать: много соблазна, – трудно оставить старые привычки, не видаться с знакомыми.

– Не забегать ко мне раз по пяти в день, – прибавила Полинька.

– Нет, Полинька, как можно! Ты мне не мешаешь работать, – быстро сказал Каютин и покраснел, вспомнив, как часто манкировал уроками, чтоб поскорей увидать свою Полиньку.

– В Петербурге тебе нельзя работать, а в провинции делать нечего, – сказала Полинька.

– Нечего! – воскликнул Каютин. – Как нечего? Напротив, там-то и работа нашему брату! Недаром говорят, – продолжал он с шутливой торжественностью, – что отечество наше велико и обильно! В разнообразной производительности наших лесов и гор, земель и необъятных рек скрываются неисчерпаемые источники богатств, неразработанные, нетронутые! Нужно только

уменье да твердая, железная воля… Бывают же примеры и у нас, что человек, не имевший гроша, через десять – двадцать лет ворочает сотнями тысяч; а отчего? он отказывает себе во всем, отказывается от всего… обрекает себя на бессрочную разлуку с родным углом, с детьми, со всем дорогим его сердцу… С опасностью жизни переплывает он огромные пространства на плоту, на дрянной барке, мерзнет, мокнет, питается бог знает чем, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за доставку чужого хлеба подкрепляет и одушевляет его в долгом, скучном и опасном плавании. Только успел он вздохнуть спокойно, почувствовав под ногами твердую землю, как новый выгодный оборот увлекает его часто на совершенно противоположный конец нашего необъятного царства. И вот через несколько месяцев он уже мчится на оленях по унылой и однообразной тундре, покупает, выменивает у дикарей звериные шкуры, братается с ними… А через год ему, может быть, придется быть в Сибири… Там опять борьба, лишения, вечный страх и вечная, неумирающая надежда… Вот как куются денежки, Полинька! «Счастье» – говорим мы, когда такой человек, наконец, воротится к нам с миллионом. А многие без дальних справок просто пожалуют его в плуты… Не все наживаются плутнями, и решительно никто не наживался без долгого, упорного, самоотверженного труда… Но мы белоручки: мы ждем, чтоб деньги сами пришли к нам, упали с неба… о, тогда мы радехоньки!.. да притом все мы большие господа: если мы не служим, так нам давай по крайней мере занятие профессора, литератора, артиста… Звание артиста конек наш, – а купец, подрядчик, промышленник… нам обидно и подумать! Как будто быть деятельным купцом не почетнее и не полезнее, чем ничего не делающим гулякой, каков я, например… а, не правда ли, Полинька?

– Ну, ты еще будешь делать, – отвечала она. – Ведь ты год только как вышел из университета: когда же тебе…

– И еще надо взять в расчет, – начал Каютин, увлеченный своею мыслью, – что люди, пускающиеся у нас в такие отважные промыслы, все они без образования, даже часто без сведений, необходимых в том деле, которому они посвятили себя. Врожденный ум, инстинкт – скорее: железная настойчивость, постепенно приобретаемый опыт, русская сметливость да русское авось – вот единственные их руководители… Что же может сделать человек, у которого при доброй воле, трудолюбии, настойчивости и уме, разумеется, есть еще сведения?.. Я имею, – продолжал Каютин, одушевляясь более и более и начиная скорыми шагами ходить по комнате, – некоторые сведения в механике, в горном искусстве… водяные пути сообщения были всегда предметом особенных моих занятий…

– Поезжай в провинцию! – тихо и нерешительно сказала Полинька.

Каютин смешался. Будто ушат холодной воды вылили на него.

– Да, да… только как же, Полинька? ведь тогда нам нужно будет расстаться…

– И расстанемся.

– На несколько лет, – договорил он.

– Что ж делать!

– Нет, Полинька, нет… не говори! я не могу жить без тебя.

Полинька с упреком посмотрела на него.

– А твоя клятва? – сказала она. Каютин с минуту молчал.

– Я еду, еду! – наконец воскликнул он решительно. – Прости меня, Полинька, за минутное малодушие!.. Трудно мне будет расстаться с тобою… но так и быть… я еду, завтра же еду!.. Пусть не считают меня малодушным! пусть на меня не падает упрек, что я погубил наше счастье! Полинька! – заключил Каютин, вздрогнув и побледнев внезапно, – и у тебя слезы…

– Нет, – быстро сказала она, сделав над собою усилие и стараясь улыбнуться весело. – Мы будем писать…

– Да, каждую почту, – сказал он. – Руку, Полинька! жить и умереть друг для друга, что бы ни случилось. Не на день расстаемся мы, не к родным, не к друзьям, не на готовый хлеб

еду… Бог знает, что ожидает, меня… Бог знает, что может случиться и с тобою… Ах, голубушка! сердце у меня, обливается кровью при мысли, что будет с тобою?.. Ведь без меня ты уж решительно одна здесь останешься…

– Да ведь и ты тоже один будешь.

– Один… один… Я дело другое: я мужчина…

– Ну, а я женщина, – шутя сказала Полинька.

– Клянусь же тебе, Полинька, что, куда бы ни занесла меня судьба, что бы ни случилось со мной, какие бы несчастия ни суждено мне вытерпеть, ни на минуту не расстанусь я с мыслью о тебе; она будет поддерживать меня в неудачах и несчастиях… и вся моя цель, мое постоянное желание будет поскорей воротиться к тебе… Верь мне, Полинька…

– Обещай только беречь себя для меня, и больше ничего не надо, – сказала Полинька.

– Да, да… я буду беречь себя… А ты, Полинька? как будешь жить ты… одна… работой… Тяжела такая жизнь.

– Жила же до сих пор, – сказала она.

– Жила… да ведь и я жил… и еще как жил! Ах, Полинька, скоро ли будем мы опять так жить?..

Он взглянул на Полиньку. Слезы текли по ее щекам… Он тоже зарыдал.

Но то была минутная и последняя вспышка горького чувства, разрывавшего их сердца. Когда через минуту Полинька подняла свою голову, скрытую на груди Каютина, лицо ее казалось уже светло и спокойно. Каютин ободрился.

Прежде всего я поеду к дяде, – говорил он, гладя ее черные роскошные волосы. – Поживу у старика, буду ухаживать за ним… Может быть, мне удастся выпросить у него несколько тысяч на разживу… Я буду присутствовать на всех ярмарках, на всех значительных рынках, сведу знакомство с купцами, с помещиками, стану присматриваться, прислушиваться… и тогда увижу, чем мне выгоднее будет заняться… Ах, какая досада, что мне нельзя завтра же ехать!

– Отчего?

– У меня нет ни гроша. Буду работать день и ночь, заработаю рублей триста – и марш.

– Тебе незачем терять здесь напрасно время, – сказала Полинька, – у меня есть триста рублей.

– Полинька! и ты хочешь, чтоб я взял у тебя деньги, которые заработала ты своими трудами?.. Я – у тебя! Полинька! пощади меня!

– Глупости! – отвечала Полинька. – Мне деньги не нужны, а тебе без них нельзя обойтись… что ж тут странного?

– Ты можешь захворать… Тебе захочется недельку погулять, отдохнуть, а я лишу тебя…

Полинька надулась.

– Так ты не хочешь, – сказала она сердито, – начать моими деньгами?.. Когда ты воротишься богачом, мне весело будет вспоминать, что наше счастье началось с моих денег…

– Полинька! голубушка! – воскликнул Каютин, целуя ее руки и едва удерживая слезы. – Ты ангел! я беру твои деньги… Но, клянусь, я ворочу тебе их с хорошими процентами: через три года (я уверен, что раньше; но я нарочно беру самый дальний срок), через три года я вернусь к тебе с пятьюдесятью тысячами… непременно… непременно!.. Ведь пятьдесят тысяч для нас довольно, Полинька! пятьдесят тысяч дают казенных процентов две тысячи; да заработать я могу легко две-три тысячи; вот, до пяти тысяч в год… на что нам больше!

– Да я еще заработаю… – начала Полинька.

– Э, Полинька! – перебил Каютин. – На твою работу нам нельзя рассчитывать.

– Отчего же?

– Хозяйство…

– Прекрасно! что ж такое! управилась с хозяйством, да и за работу…

– А дети?

– Какие дети? – спросила Полинька и слегка покраснела.

– Наши дети… ведь у нас будут дети, Полинька.

– Чем рассчитывать проценты с пятидесяти тысяч, которых еще нет, да будущие доходы, – сказала Полинька сердито, – вы лучше подумайте, в чем вы сегодня со двора выйдете…

Каютин отыскал старое пальто, которое давно уже перестал носить, но которое, впрочем, оказалось хоть куда, только петли прорваны. Полинька принялась их заштопывать. В полчаса все было готово. Каютин нарядился в пальто, а Полинька получила во владение свой бурнус.

Уходя, она встретила в сенях дворника с рамой; за ним шел и сам Афанасий Петрович, желавший лично присутствовать при возвращении рамы на старое место.

– А какову штучку сыграл я с вашим женишком! – сказал он ей, кланяясь с стариковской любезностью и самодовольно указывая на раму: – а?..

И он расхохотался на весь свой маленький деревянный дом.

Глава III
Знакомство

Жара была страшная. В Струнниковом переулке, и всегда не слишком оживленном, царствовала глубокая тишина. Кругом все, утомленное, расслабленное, бездействовало… Не слышалось ни чириканья воробьев, ни воркованья голубей. Курицы, вырыв себе ямы и спрятав нос под крыло, дремали. Грязная лохматая собака в изнеможении лежала в тени, высунув язык, и тяжело дышала. Только неутомимые мухи, жужжа, крутились в воздухе и безжалостно щекотали собаку; выведенная из терпения, она яростно их ловила с неистовым стуком зубов и проворно глотала…

Переулок приходился почти на краю города, и стук экипажей не мешал слушать всему населению тоненький голос башмачника, который, прилежно работая и пристукивая, пел немецкую песню у растворенного окна; ему тихо вторила молоденькая черноглазая девушка, сидевшая у окна второго этажа. Вокруг нее лежали лоскутки только что раскроенного платья. Но она не слишком прилежно работала, поминутно поглядывая искоса на окно противоположного дома, выкрашенного зеленой краской; при каждом взгляде яркий румянец покрывал ее щеки, хотя окно, возбуждавшее ее любопытство, по-видимому, не представляло ничего особенного. Золотое дерево и огромная старая герань, густо разросшаяся, закрывали его плотною зеленою стеною. Изредка листья колыхались, и тогда только можно было заметить два черные глаза, неподвижно устремленные на девушку.

Было так тихо, будто все замерло в воздухе; солнце только что перешло за полдень и равно на все предметы разливало жгучие лучи. Вдруг пахнул теплый ветерок; солнце ушло за тучу; пыль закружилась на тротуаре и на улице, как бы вальсируя. В одну минуту стало темнее; пыль, вертясь, поднялась столбом, кверху; рамы застучали и заскрипели, покачиваясь.

Девушка так была занята, что нечаянный стук рамы заставил ее вздрогнуть; ветер с силою рванулся к Ней в комнату, лоскутки разлетелись по полу, а рукав, лежавший на окне, легко взлетел на воздух и вертелся по прихоти ветра…

Она вскрикнула и печально следила за рукавом. Из зеленого дома выбежал высокий молодой человек, одетый очень небрежно, и, как исступленный, пустился ловить кисейный рукав, который, то опускаясь до мостовой, то взвиваясь высоко, будто дразнил своего преследователя, не даваясь ему в руки; длинные волосы молодого человека развевались по ветру, и пыль засыпала ему глаза.

Девушка следила за каждым его движением с таким же участием и замиранием сердца, с каким красавица средних веков не сводила глаз с турнира, где сражался ее избранный.

Наконец молодой человек устал, и движения его стали медленнее; но вдруг он высоко подпрыгнул, ловко схватил рукав и с торжеством побежал назад.

Девушка радостно вскрикнула и, покраснев, проворно скрылась от окна.

Волнение на улице между тем увеличилось; курицы, кудахтая и махая крыльями, побежали под ворота; некоторые забились под лавку у ворот одного дома и, нахохлившись, стояли рядом в боязливом ожидании; собака лениво встала, чихая от пыли, и, вытянувшись, тоже нырнула за курами под ворота. Из многих окон выставились руки, и рамы со стуком начали запираться.

Глухие удары грома изредка потрясали окна; грозная туча медленно надвигалась, – становилось почти темно.

Но не все слышали удары грома и видели тучу – предвестницу сильной грозы.

Молодой человек робко вошел в комнату черноглазой девушки. Светлая горница, очень чистенькая, комод с туалетом, шкаф, диван, соломенные стулья, – вот что увидел молодой человек; но он почувствовал такую неловкость, как будто очутился во дворце.

– Кто там? – спросила девушка, не поворачивая головы и продолжая шить, по-видимому, очень прилежно.

Человек спокойный мог заметить в ее голосе волнение; но гостю было не до наблюдений: сам сильно взволнованный, он отвечал, тяжело дыша:

– Я-с. – Ах! – вскрикнула девушка и повернула к нему свое розовое личико.

Так они довольно долго смотрели друг на друга в молчании.

– Вот рукав, – первый начал молодой человек.

Он подал ей рукав. Она сказала:

– Как я вам благодарна!.. я боялась, чтоб он не запачкался!

– Нет, он только немного в пыли… И какой миленький рисунок; верно…

– Это чужое! – перебила его девушка и, не зная что еще сказать, вдруг спросила: – А вы далеко жи… ве… те?

Она страшно покраснела и едва могла договорить свой вопрос.

– О, очень близко! вот-с, вот мое окно, с зеленью. И он лукаво посмотрел на девушку.

– Вы любите цветы? – спросила она.

– Очень; только это хозяйские; я так уж с ними и нанял. А вы любите?

– Люблю; это все моего сажанья; вот я посадила лимонное зерно: посмотрите, как выросло в год!

И она подала молодому человеку отросток лимонного дерева.

– Да-с, очень большое…

Запас для разговора вдруг истощился. Наступило долгое молчание.

– Садитесь, – сказала девушка, подвигая стул своему гостю.

– Благодарю, мне пора домой…

В то самое время ярко сверкнула молния; они оба вздрогнули; девушка перекрестилась. Страшный удар грома потряс ставни.

– Ах, какая гроза! – воскликнула девушка, бледнея.

– Вы боитесь грому? – спросил гость.

– Нет, это так… вдруг, неожиданно… я оттого испугалась.

Удары грома повторялись чаще и чаще, и вдруг дождь хлынул рекой, барабаня в крышу, стекла и железные подоконники.

– Какой дождь!

– Теперь уж гроза не опасна.

– Садитесь, переждите! – весело сказала девушка.

Дождь дал ей право на беседу с молодым человеком, и она почувствовала себя свободнее.

– Не беспокойтесь!.. Не вынесть ли на дождь ваш отросточек?

– Ах, нет! – с живостью возразила девушка и прибавила: – его могут разбить.

– Кто же смеет его разбить? – угрожающим тоном спросил молодой человек.

– Да моя хозяйка: она такая сердитая.

– А, так она вам надоедает? – спросил молодой человек.

– Нет; но она все ворчит, а я не люблю с нею говорить.

– А дорого вы платите за квартиру?

– Двадцать рублей с водою, да только она не дает воды: я плачу особо мальчикам башмачника. А, да вот и ее голос; верно, свои цветы выставляет.

Девушка отворила окно и нагнулась посмотреть. Башмачник, белокурый немец, низенького роста, с добрым выражением лица, стоял на тротуаре и поправлял свои цветы: два горшка месячных роз. Он промок до костей, и лицо его приняло такое жалкое выражение, что молодой человек, улыбаясь, сказал:

– Посмотрите, немец-то как измок. – Да!

И девушка тоже улыбнулась.

Башмачник, очевидно, был в сильном волнении: вымоченные, почти белые волосы прилипли к его бледному лицу, которому внутренняя тревога сообщала выражение тупости. Он давно уже стоял здесь – с той самой минуты, когда молодой человек пробежал к его соседке, – и, казалось, не замечал ни ударов грома, ни проливного дождя.

Увидав, что на него смотрит девушка, башмачник начал в смущении ощипывать с своих роз сухие листья.

– Эй, Карло Иваныч! Карло Иваныч! – басом кричала ему толстая женщина, высунувшись в окно нижнего этажа.

То была владелица дома – мещанка Кривоногова, перезрелая девица, особенно замечательная цветом лица: широко и безобразно, оно было совершенно огненное; рыжие, чрезвычайно редкие волосы ее росли тоже на красной почве; маленькая коса, завязанная белым снурком, торчала, как одинокий тощий кустик среди огромной лощины. Плечи хозяйки были так широки, что плотно врезывались в окно, на котором она лежала грудью.

Встревоженный башмачник не слыхал нетерпеливых криков девицы Кривоноговой.

– Вишь, немчура проклятая! еще и глух! Эй, Карло Иваныч! – повторила, она голосом, который напомнил соседям недавний удар грома.

– А? что?

И маленький немец завертелся на все стороны.

– Сюда! ха, ха, ха! чего испугался?

– Что вам, мадам?

– А вот что, гер! коли уж вам пришла охота мокнуть вместе с цветами, так возьмите ушат да и подставьте его к трубе. Вишь, какая чистая вода! а мне не хочется платья мочить.

Башмачник теперь только заметил, что вымок так же, как и его цветы. Он с ужасом взглянул на свое чистенькое платье и бросился со всех ног в комнату, позабыв даже цветы.

– Экой шальной, прости господи!

Красная хозяйка плюнула, не без труда вытащила из окна свои пышные плечи, и скрылась.

Через две минуты девочка и мальчик лет шести весело выкатили кадку на улицу и поставили ее под трубу. В трубу с журчаньем стекали ручьи. Крупный дождь сменился мелким; петухи запели, важно выступая; воробьи радостно припрыгивали и чирикали; голуби, воркуя, утоляли жажду. Воздух очистился, и на мраморном небе явилось солнце, играя в больших лужах, которые неподвижно стояли среди улицы.

Девочка долго любовалась отражением неба в луже и сказала своему брату:

– Феда, а Феда! хочешь, я пройду по небу?

– Ну-ка, пройди, Ката.

Дети картавили.

Девочка высоко подняла платье и пустилась прохаживаться по луже с громким смехом; брат не вытерпел: принялся за то же, – и веселый смех детей звонко раздавался в чистом воздухе.

В слуховом окне зеленого дома показался толстый мальчишка лет девяти, с большими красными ушами, басом закричал на детей: «Что вы шалите?» и спрятался. Дети вздрогнули и кинулись вон из лужи; они в недоумении осматривались кругом, – вдруг красноухий мальчишка снова выглянул; дети показали ему язык; он бросил в них черепком.

– А, красноухий!

И дети силились длинней выставить свои крошечные красные язычки.

Между тем лохматая собака похлебала из лужи; но, видно, грязная вода не удовлетворила ее: пользуясь суматохой, она принялась жадно лакать из ушата.

Ссора прекратилась; дети кинулись к собаке с угрожающими жестами, крича: «Розка! Розка!», но вдруг они стали ласкаться к ней, заметив хозяйку, показавшуюся в окне.

– Ката! увидит! – говорил мальчик.

– Нет, не гони Розку, Феда.

И девочка своим маленьким туловищем защищала Розку, которой огромная, неуклюжая фигура совершенно не соответствовала нежному названию.

– Эй, что шалите! – крикнула хозяйка, плотно улегшись в окно.

И собака и дети вздрогнули. Розка даже не решилась облизать свою мокрую морду и смиренно села на задние лапы.

– Что же вы не тащите воды в кухню? а? шалить? вот я вас!

И хозяйка скрылась.

– Понесем, Ката! – робко сказал мальчик.

И они старались сдвинуть ушат, но он только покачивался, вода плескалась.

С большим усилием, и то боком, прошла в калитку краснорыжая хозяйка, держа в руках две шайки, некогда украденные ею в бане.

Широкое пестрое ситцевое платье обрисовывало очень ясно ее гигантские формы; ее красная шея, вся в складках, была полуоткрыта; один бок платья, заткнутый за пояс, давал возможность видеть два огромные красные столба, которые по своей крепости могли сдержать какое угодно здание. Босые ее ноги были обуты в истоптанные полуботинки.

– Ах, вы, лентяи! видите, вода через край льется, а не тащите в кухню! – на всю улицу кричала хозяйка.

– Мы не можем, тетенька! – в один голос сказали испуганные дети.

– Не можете! а шайки отчего не взяли, а?

И хозяйка гневно вручила каждому по шайке. Дети, почерпнув воды, поплелись к калитке.

– Тише, не плещите! – повелительно командовала хозяйка, а сама поглядывала на верхнее венецианское окно зеленого дома. Заметив красноухого мальчишку, она радостно закричала:

– Митя! а Митя!

– Ась? – выглянув, сказал мальчишка.

– Что ты делаешь на чердаке?

– С котятами играю.

И мальчишка показал из слухового окна маленького котенка, которого держал за шею.

– Кинь-ка сюда его! ха, ха! – говорила хозяйка.

– Не смею: тятенька услышит.

– А он спит?

– Спит.

– Ну, так не услышит; брякни-ка его, брякни!

И хозяйка делала выразительные жесты. Мальчишка, ободренный хозяйкой, вышвырнул на крышу всех котят, и они с мяуканьем начали карабкаться по ней.

Вдруг венецианское окно стукнуло: высунулась небритая фигура в белом вязаном колпаке, в старом халате, и старалась заглянуть на крышу.

– Эй, кто там? Митька, что ли? а? кто котят трогает? – кричал с озабоченным видом Доможиров, обладатель дома и мальчишки, который, притаясь, спрятался за трубу.

– Что это вы, никак спите? – сказала хозяйка, кокетливо обдергивая свое платье.

– А что? да я хочу посмотреть, кто котят трогает.

И Доможиров чуть не выскочил из окна, стараясь открыть преступника.

– Слышали, какой ужасный…

– Что? что такое? пожар близко? а? – в испуге перебил Доможиров.

– Эх! ха, ха, ха! – подбоченясь, смеялась хозяйка. – Дождь…

– Когда?

– С четверть часа; видите, какой лил!

– Ах, жаль! я бы свои цветы вынес.

– Проспали! а я так для чаю воды приготовила; такая чистая, лучше, чем из канала. Милости просим, милости просим!

И хозяйка, потрясая мостовую, легкой рысью пошла домой.

Между тем ни девушка, ни ее гость не замечали, что буря прошла. Песня башмачника снова послышалась под окном, смешиваясь с постукиваньем молотка.

– Вам весело; у вас сосед такой певун, – сказал молодой человек.

– Да, он такой добрый! – отвечала девушка и, взглянув в окно, прибавила печально: – Дождь перестал.

– Перестал?

И молодой человек вглядывался в воздух. Девушка высунула свою беленькую руку из окна и радостно сказала:

– Нет еще, идет… маленький…

– Прощайте, извините, что я вас без…

Молодой человек замялся.

– Ничего… я очень вам благодарна… я рада… прощайте!

– Мое почтение!

Гость вышел. Оба они были в волнении. Она кинулась к окну, присела и украдкой следила за ним, а он, ловко перескакивая с камня на камень, поминутно оглядывался. Вдруг нежно начатая нота оборвалась; девушка увидела башмачника, который тоже переходил улицу. Взяв с тротуара свои розы, он медленно воротился домой.

Девушка стала работать, но то иголка колола ей палец, то нитка рвалась, то она забывала сделать узел и усердно стегала, не замечая, что шитья не прибывало. Грудь ее сильно волновалась, и улыбка поминутно показывалась на ее довольном личике, которое горело ярким румянцем. Дверь скрипнула: Катя и Федя вошли в комнату.

– Что вам? – ласково спросила девушка.

– Дядя цветочек прислал тебе, – отвечала Катя, смело подавая ей тощий розан, который недавно красовался на тротуаре.

– Скажи дяде спасибо. И она поцеловала детей.

– Ах, какие вы мокрые!

– Мы воду носили, – самодовольно и в один голос отвечали дети, которых теперь нельзя было узнать: они ясно и весело смотрели в светлые глаза девушки, не обнаруживая ни робости, ни грубости.

Катя и Федя с двух лет начали вести кочевую жизнь. Слова «мать и отец» были им чужды и заменялись общим выражением: тетенька и дяденька. Они не знали ласк и нежного попечения, зато инстинктом понимали, что не смеют и не должны иметь своих желаний. И у них не было капризов с теми людьми, которые обходились с ними грубо. Послушание их было невероятное: иногда хозяйка грозно крикнет: «молчать» – и дети молчат целый день, меняясь только между собой выразительными взглядами. Ни новое жилище, ни новые лица – никакие перемены не смущали и не удивляли их; с трех слов они уже свыкались с характером тех, – чьим попечением вверяла их мать – за четыре рубля серебром в месяц. Разумеется, только страшная нужда заставила мать бросить своих детей. Жертва вероломного обольстителя, она лишилась места гувернантки и должна была итти хоть в нянюшки, чтоб кормить детей. Ее редкое появление, вечно печальное лицо, угрозы хозяйки: «погодите, мать придет: высечет», – все вместе действовало на детей так, что они дичились своей матери. Огорченная их равнодушием, часто бедная женщина плакала; но дети не понимали ее слез, еще больше чуждались ее и прощались с ней с радостью. Взамен любви к родителям, дружба между братом и сестрой развилась до такой степени, что одни желания, одни привычки были у них. Хотели заставить сделать что-нибудь брата, стоило погрозить сестре, и наоборот, все тотчас исполнялось. Самый маленький

кусочек делили они пополам. В целый день с ними никто слова не скажет, а дети говорят между собой безумолку, и, вслушавшись в их болтовню, подивишься их наблюдательности. Зато с теми, в ком замечали ласку и любовь, они становились смелы, любопытны и резвы.

Вскарабкавшись на окно, Катя обняла девушку и крепко целовала ее; Федя тоже тянулся к ней.

– Катя, Федя, тише! платье запачкаете!

– Тетя, посмотри, вон дядя смотрит! – наивно сказала Катя, – указывая пальцем на молодого человека, который появился в окне зеленого дома.

Девушка невольно повернулась. Молодой человек слегка поклонился и поманил детей. Дети закопошились и с криком: «дядя зовет!» побежали к двери, но вдруг остановились, как вкопанные: в дверях стояла тетенька (как звали дети толстую хозяйку).

– Куда, стрекозы, а?.. Здравствуйте, моя красавица!

– Здравствуйте, – сухо отвечала девушка.

– Что поделываете? Вишь, какого дождя бог послал… Себе, что ли? – спросила девица Кривоногова, протянув красную руку к кисее.

– Нет, чужая работа.

– Вот то-то и есть! что хорошего – чужое! Небось, погулять хочется иногда, а тут шей да шей; будь еще старуха, как я, – куда ни шло! а то молодая. Плохое житье!

– Что ж делать? Вот вы советуете мне гулять, а как я вам раз целкового недодала в срок, так хотели взять мой салоп…

– Ну, старый человек любит поворчать! Вот до вас жила у меня тут жилица – такая красивая, право; также всё работала, бог и устроил ее; теперь барыня барыней; в пятницу прихожу к ней, а она в шелковом платье сидит. Такая добрая! ситцу мне подарила…

– Замуж вышла?

– Уж и замуж! кто возьмет бедную? может, он потом и женится, коли умна будет. Зато какой салоп сатан-тюрковый сшил ей – чудо! А ты, чай, и шерстяной едва заработаешь, а?

– Проживу и в шерстяном.

– Ох, молодость, молодость! вот и та сначала то же говорила, а как захворала, запела другое. Прежде казался стар, а теперь ничего: свыклась…

– Нет, уж я лучше умру с голоду! – воскликнула девушка.

– Так, по-вашему, с голым лучше связаться, вот как тот вертопрах? – возразила хозяйка, указав на окно зеленого дома. – Целый день торчит у окна, выпучит глаза и смотрит.

Девушка покраснела и боялась поднять голову.

– Ха, ха, ха! вот хорош муж! день-деньской ничего не делает, не служит, за квартиру не платит. Уж если б я…

В ту минуту Федя чихнул; не кончив одной мысли, девица Кривоногова перешла к другой.

– Вот их мать тоже связалась с бедным, – теперь дети по углам и шляются. Сама место потеряла хорошее. Бог знает у кого живет. И что за деньги? четыре целковых! да они больше съедят; утром и вечером чай, – подумайте сами.

Но слушательница сильно скучала и не хотела подумать. Девица Кривоногова продолжала:

– Так только, из жалости держу; сердце у меня такое доброе… Что вы торчите тут? в кухню пошли!

Приказание относилось к детям, которые немедленно скрылись. Хозяйка подвинулась ближе к своей жилице и, нагнувшись к ней своим красным лицом, с лукавой и злобной улыбкой сказала:

– Карты есть? дай погадаю!

– Вы знаете я никогда не гадаю… у меня нет карт, – отвечала жилица, отворачиваясь.

– Ну, ну, не надо карт, я и так скажу: есть головушка, о молодице крепко думает; в парчу, в золото оденет красну девицу, пальцы перстнями уберет, – полюби только молодца… а?

И хозяйка так близко нагнулась к девушке, что та почувствовала ее дыхание и быстро отодвинулась.

– Что вы говорите? – сказала она с испугом.

– Что говорю? добра желаю тебе! человек пожилой – видел тебя, приглянулась; отчего же не сказать? сердце у меня доброе. Право, богата будешь и работать не станешь; а скажи одно словцо – и дело с концом…

– Оставьте меня в покое; я знать ничего не хочу! – отвечала жилица голосом, в котором дрожали слезы.

Хозяйка сдвинула свои рыжие брови, гневно открыла рот; но в ту минуту дети вбежали в комнату и разом крикнули: «Тетенька, вас барин чужой спрашивает!»

– Сейчас!.. Ну, посмотрю я, долго ли, голубушка, ты поломаешься? Сама попросишь потом, так уж не прогневайся – поздно будет!

И девица Кривоногова с достоинством удалилась.

Уже не раз она делала жилице своей такие предложения, но жилица упорно не хотела своего счастья, по выражению хозяйки. Знакомство жилицы с молодым человеком приняло серьезный оборот. Сначала поклоны, потом коротенькие визиты, наконец визиты продолжительные. Часто проходящие видели молодого человека, с жаром читавшего вслух книгу, и девушку, которая жадно его слушала, забыв работу. По воскресеньям у жилицы сбиралось довольно большое общество: Ольга Александровна – мать Кати и Феди, башмачник, иногда рыжая хозяйка и непременно всегда молодой жилец зеленого дома.

Недолго молодые люди наслаждались спокойствием; благодаря искусным сплетням девицы Кривоноговой злословие скоро разлилось по всему переулку. Частые слезы жилицы разрывали душу башмачника. Наконец он не выдержал: явился к молодому человеку, рассказал, как огорчают бедную девушку наглые сплетни соседей, – горячо говорил, что так или иначе нужно положить делу конец и поберечь доброе имя девушки.

– Я хозяйку прибью, да и всех, кто посмеет дурно говорить о Палагее Ивановне! – воскликнул молодой человек.

Читатель, разумеется, уже догадался, что девушка – наша Полинька, а молодой человек – Каютин.

– Вы не имеете права! – возразил башмачник. – Вас полиция возьмет.

– Ну, я жених ее – вот и все! я хочу жениться на ней! кто посмеет сказать дурно о моей невесте, а?

И взгляд Каютина сделался грозен. Башмачник побледнел, покраснел, с минуту стоял в нерешительности, потом быстро схватил руку Каютина.

– Да, хорошо! теперь вы можете защищать ее: вы жених!

Он с великим трудом договорил: же-ни-х, повесил голову и задумался.

– Я сегодня же сделаю сговор! не правда ли, чем скорее, тем лучше? Карл Иваныч, голубчик! вот вам деньги: купите вина две бутылки… конфектов… и еще чего бы?

И Каютин ходил по комнате в волнении.

– Ну, да сами придумайте, а я побегу к ней!

Каютин, как стрела, пустился через улицу. Карл Иваныч следил его тупым взглядом, и когда Каютин показался в окне Полиньки, он быстро отвернулся. Слезы градом текли по его бледному лицу.

Вечером комната Полиньки ярко светилась. В гостях недостатка не было: тот день был воскресный. Карл Иваныч, во фраке и в белом галстуке, играл на скрипке старинный вальс и печально следил за Полинькой и Каютиным, которые без устали вальсировали в маленькой комнате, безумно веселы и счастливы…

Лицо башмачника было страшно бледно; то он переставал играть и в изнеможении садился: тогда и вальсирующие останавливались; то вдруг издавал странные аккорды и начинал собственную фантазию, которая оказывалась неудобною ни для какого танца.

За полночь гости разошлись. В переулке разнесся слух, что тут свадьба, и многие долго ожидали прибытия из церкви невесты и жениха.

Вот почему Полинька так свободно обходилась с Каютиным.

Глава IV
Пирушка

В тот день, с которого начинается наша повесть, Полинька, оставшись одна, задумчивая и озабоченная, подошла к своему комоду, отперла верхний ящик и достала из-под груды разноцветных лоскутков, ниток и шерсти небольшой красивый портфель. Размотав розовую тесемочку, она открыла его: там были деньги. Зная очень хорошо, сколько у нее денег, она, однакож, внимательно пересчитала их: оказалось ровно сто рублей. Полинька вздохнула; облокотясь на комод, она долго думала. Вдруг лицо ее просияло радостной улыбкой. Проворно пошарив в углу ящика, она достала сверток, развернула его, и шесть блестящих столовых ложек застучали по комоду. Это было ее трудовое добро. Зная ветреный характер своего жениха, она трудилась вдвое, чтоб сколько-нибудь обзавестись к свадьбе. Она страшно боялась выйти замуж без верных средств к жизни; печальный пример ежедневно был перед ее глазами; может быть, и ее дети должны будут жить в чужих людях и терпеть горе, как дети Ольги Александровны. Принужденная жить трудами, Полинька поневоле смотрела практически на жизнь.

Блеск ложек, кажется, ослепил ее: она закрыла лицо руками; потом, взяв со стола маленькие часы довольно грубой отделки, долго любовалась ими, прислушивалась к их бою, наконец почистила их и положила в футляр. Обревизовав так свое богатство, Полинька снова спрятала его и села к окну, где стоял ее рабочий столик.

Долго смотрела она на окно Каютина, в котором рама была уже вставлена, и слезы ручьями полились из ее глаз…

Полинька оделась довольно тщательно и протянула было руку к часам, но горько усмехнулась и не взяла их.

Было около семи часов вечера, когда она вышла из дому; на улице становилось темно; фонарей еще не зажигали. Полинька шла очень скоро в глубокой задумчивости; брови ее были сдвинуты; она кусала свои розовые губы. Незаметно очутилась она в одной из главных петербургских улиц и проворно взлетела на лестницу огромного дома, на котором среди множества вывесок всех цветов и размеров ярче всех бросалась в глаза исполинская надпись золотыми буквами:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН И БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Надпись оканчивалась фамилией владельца с огромным восклицательным знаком, будто сам художник не мог достаточно надивиться своему произведению и добродушно рекомендовал его удивлению других. При входе, у подъезда, и по всей лестнице беспрестанно попадались второстепенные вывески такого же содержания, но без восклицательных знаков; в самом деле, удивляться было уже нечему: на небольшой доске надпись белилами по красному полю и голубая рука с вытянутым указательным пальцем: таковы, были второстепенные вывески.

Добежав до третьего этажа, Полинька дернула за колокольчик… При входе в прихожую ее поразил страшный говор.

– Что, у вас гости? – спросила она у курчавого парня, в синей сибирке, с бородкой.

– Гости, – гордо отвечал артельщик.

– Здесь Надежда Сергеевна?

– Здесь-с.

Сделав несколько шагов коридором, Полинька вошла в небольшую комнату, в которой стояли две детские кроватки, диван и стол с чашками, стаканами и огромным самоваром, величественно пыхтевшим. На диване сидела женщина лет двадцати пяти, которой бледное, болезненное лицо выражало следы долгих и тяжких страданий. На руках ее спал ребенок; крупные слезы, как роса на розовом листке, замерли на его щеках.

Они поздоровались, и Полинька спросила, прислушиваясь к шуму соседней комнаты:

– А что, у вас опять гости?

– Да, – со вздохом отвечала хозяйка. – Ты лучше спроси, – прибавила она с странной улыбкой: – когда у нас их не бывает?.. Разве его дома нет!

И она осторожно положила сонного ребенка в кроватку, потом подошла к другим детям, спавшим в той же комнате, и, оправляя подушки, спросила:

– Ты что-то не весела сегодня? Лицо Полиньки вдруг потемнело.

– Я принесла тебе нерадостные вести, – отвечала она, и глаза ее наполнились слезами.

– Что такое?.. что случилось? – с участием спросила хозяйка.

Полинька вздыхала… Громкий, дружный хохот нескольких голосов, неожиданно раздавшийся в ту минуту из соседней комнаты, заставил всех вздрогнуть. Грудной ребенок заплакал раздирающим голосом; хозяйка побледнела и кинулась успокаивать его.

– Да они детям уснуть не дадут, – заметила Полинька.

Хозяйка не отвечала, но в каждом взгляде ее на дверь выражался печальный упрек.

– Какое горе у тебя, Полинька? – спросила она, желая переменить разговор.

Пересказывая приятельнице свое горе, Полинька долго крепилась; наконец сил у нее не стало: она расплакалась.

– Полно! о чем плакать? вы еще молоды. Ну, что было бы хорошего, если б вы теперь обвенчались? ни у него, ни у тебя ни гроша…

– Да, я знаю, что нельзя!.. – отвечала Полинька, отирая слезы: – а все-таки мне грустно… мало ли что может случиться…

– Одно может случиться, что он разлюбит тебя. Так пусть лучше разлюбит, пока не обвенчались… а то дети…

Надежда Сергеевна тяжело вздохнула.

– О, он меня не разлюбит! – самодовольно отвечала Полинька. – Я пришла к тебе посоветоваться, – продолжала она, приняв важный вид: – не знаешь ли ты, у кого денег взять под залог?

– А тебе разве нужно?

– Да, мне нужно заложить часы и ложки…

– На что? – встревоженно спросила Надежда Сергеевна.

– Да у него нет денег на дорогу. Он хотел остаться здесь на месяц, чтоб заработать, да я подумала: он такой ветреный, пожалуй, опять решимость пройдет… так я лучше хочу дать ему денег…

– Смотри, не скоро опять выкупишь.

– Отчего? я еще больше буду работать, когда он уедет.

– Хорошо, если так, а то бог знает что может случиться.

– Да что же случится!

– Захвораешь.

– И выздоровлю.

– Я бы тебе сама денег дала, – со вздохом сказала Надежда Сергеевна, – да как просить у него…

– Нет, полно, – перебила Полинька, – как можно! тебе самой нужно… у тебя дети! Я за себя не боюсь: я одна…

– У моего мужа есть знакомый, – он еще с ним в компании, – который, говорят, дает деньги.

– Кто он?

– Да он, кажется, теперь здесь…

Хозяйка подошла к двери, и, отняв сбоку занавеску, заглянула в соседнюю комнату.

– Точно здесь, – сказала она, – у него пренеприятное лицо; но муж говорит, что он отличный человек.

Полинька тоже полюбопытствовала заглянуть за занавеску.

В комнате, убранной с безвкусным великолепием, вокруг стола, установленного бутылками, сидело, ходило и лежало человек десять, с красными лицами и сверкающими глазами; они кричали, хохотали, чокались, целовались и пели. Полинька была скромна, но чувство скромности не переходило у ней в щепетильность и чопорность, и она с любопытством рассматривала холостую пирушку, которой не приводилось еще видеть ей ни разу в жизни, и не смущалась тем, что не на всех пирующих были галстуки, а на некоторых не было даже и сюртуков. Прежде всего, бросался в глаза господин, которому высокий рост, широкие плечи, огромный лоснящийся лоб и круглые красные щеки, удачно скрадывавшие своей одутловатостью непомерную величину носа, давали неотъемлемое право на название «видного мужчины». На глаза некоторых он мог назваться даже красавцем. Наряд его поражал пестротой и изысканной роскошью: в его шарфе горел брильянт, оскорблявший своей огромностью всякое чувство приличия, а толстые пальцы его жестких и красных рук усеяны были кольцами и перстнями, столько же безвкусными, сколько и богатыми. Во всю длину груди шла золотая толстая цепь; на животе тоже красовалось золото, в форме разных зверей, птиц и рыб. Его черные, довольно жидкие волосы, с висками, зачесанными к бровям, щедро натерты были фиксатуаром. Походку имел он величавую, а в маленьких, заплывших жиром глазах его выражались самодовольствие и презрительное высокомерие. Говорил он сиплым басом, резко и отрывисто, и хохотал – исключительно собственным шуткам – так, что стекла дрожали. Он беспрестанно обходил с бутылкой гостей, наполнял стаканы, непомерно проливая, и приставал с просьбами пить.

– Что ж, господа! – говорил он с упреком: – никто не пьет! Разорить, что ли, хотите Ивана Тимофеича?.. Ведь я для того купил, чтоб пить… ей-богу! или боитесь, нехватит на ночь?.. А Иван-то Тимофеевич на что?.. Стоит турнуть гонца к благодетелю… А? не правда ли?

Благодетель, к которому относились последние слова видного мужчины, господин с стеклянным лицом и стеклянными глазами, по всей вероятности винный продавец и главный потребитель своего товара, энергически отвечал:

– Для милого дружка и сережка из ушка; хоть бочку прикатим, слова не скажем!

– Уж еще мы не пьем! – возразил видному мужчине один рыжий гость обиженным голосом. – Да я еще за обедом водки три рюмки да хересу стакана четыре выпил… а ведь каждый стакан хересу бутылки шампанского стоит!

– Ну вот, – перебил его видный мужчина, – расхвастался! десять человек… а что выпили? стыдно сказать! всего… всего, – заключил он тоном тончайшей иронии, – третью дюжину допиваем!

Раздался дружный хохот гостей, покрытый собственным хохотом видного мужчины.

– Борис Антоныч, сделайте одолжение!

Господин, к которому теперь обратился видный мужчина, сидел на диване; видна была только его голова, которая висела почти над самым столом, резко отличаясь своей бледностью. Лицо маленькое, с миниатюрными, очень тонкими и нежными чертами, необыкновенно черные курчавые волосы, изредка пересыпанные седыми, проницательные большие глаза, радостно вращавшиеся кругом, и густые нависшие брови, которые, казалось, неохотно расправлялись вопреки своей привычке хмуриться: таков был Борис Антоныч.

– Вы знаете, что я не могу много пить, – отвечал он тонким и приятным голосом.

– Для меня! – неумолимо возразил видный мужчина, двинув к нему стакан, который пришелся почти на одной линии с носом курчавого старичка.

– Для вас – извольте! Я не знаю, чего бы я не сделал для почтеннейшего нашего Василия Матвеича! да и каждый из нас… не правда ли, господа?

– О, разумеется!

– Василий Матвеич, – продолжал курчавый старичок, – между нами голова. Ему на роду написано ворочать миллионами.

– Вашими устами мед пить! – отозвался видный мужчина, лицо которого засияло, и протянул к старику стакан.

Они чокнулись и выпили.

– Сто лет жить, сто миллионов нажить! – воскликнул курчавый старичок, поставив свой стакан. – Уж как Василий Матвеич вздумает покутить, так у него стыдно становится отказываться… Такое радушие – все нараспашку… десяток гостей назовет, а на сто вина закупит! хе, хе, хе!..

И курчавый старичок залился сухим, дребезжащим смехом.

– Уж кутить, так кутить! – величаво заметил видный мужчина.

– И надо правду сказать, – продолжал курчавый старичок, – кутить он кутит, да и дела не забывает. И бог знает, когда у него хватает на все времени! Человек светский, общество любит; утром – на завтраке; там, глядишь, обед дома, и за обедом гостей тьма; там в театре… как же?.. нельзя и не повеселиться… мы ведь не хуже других. Денег, слава богу, довольно… надо свое сословие поддержать! хе, хе, хе!.. а оттуда частенько к цыганам, к Матрене Кондратьевне… а? есть тот грех?

– Дело житейское, – с гордостью отвечал видный мужчина.

– Думаешь, дело ждет… интерес упущен!.. Не тут-то было! и дело идет своим чередом, товар принят, почта отправлена, счета поверены… а все он же, Василий Матвеич!.. все он! без него в магазине ничего не делается!

И тут курчавый старичок лукаво посмотрел в правый угол, где молчаливо сидел человек с угреватым лицом, худо одетый, худо выбритый и худо причесанный. При взгляде старика по толстым потрескавшимся губам его пробежала злая, радостная улыбка, и он незаметно кивнул головой.

– Не понимаю, просто не понимаю такой деятельности, – продолжал курчавый старичок. – Да научите меня, Василий Матвеич, вашему секрету! я вот едва умею справиться с моим маленьким хозяйством.

– Очень просто, – глубокомысленно отвечал видный мужчина, – строжайший порядок… ежеминутная отчетность, исполнительность?.. аккуратность… все по часам… строгость… ночи не спишь за делами…

– Я так и думал! – воскликнул курчавый старичок и опять лукаво взглянул в правый угол и получил в ответ ту же ядовитую, радостную улыбку. – Вот после того и судите о людях по наружности! А ведь другой, посмотревши на жизнь Василия Матвеича, как он то в театре, то у цыган, то на попойке, то у себя банкет задает, подумает сдуру, что он – извините, почтеннейший Василий Матвеич, – пустейший и ленивейший человек, за которого все делает какой-нибудь приказчик.

Курчавый старичок переглянулся с дурно причесанным господином.

– …и которому, – заключил он любезнейшим и добродушнейшим голосом, – не миновать банкротства! ха, ха, ха! не правда ли, господа?

Курчавый старичок залился своим звонким смехом и светлым, добродушным взглядом обвел все собрание.

Никто, казалось, не заметил, что смех его отзывался зловещей иронией, и все добродушно смеялись вместе с ним, и всех громче и добродушнее смеялся сам видный мужчина!

Худо выбритый господин тоже смеялся в своем углу.

– Выпьем же, господа, – воскликнул Борис Антоныч, – за здоровье почтеннейшего и деятельнейшего Василия Матвеича.

– Выпьем! выпьем!

– Вина! – закричал восторженно видный мужчина.

Принесли вино, хоть и в прежних бутылках было еще довольно; пробка хлопнула, и видный мужчина начал наливать.

– А Харитону-то Сидорычу, – заметил Борис Антоныч, указывая на дурно выбритого господина, – помощнику-то вашему… хоть, правду сказать, вы не очень нуждаетесь в помощниках… хе, хе, хе!

Старик опять засмеялся и лукаво щурился то на видного мужчину, то на его помощника.

– Нальем и Харитону Сидорычу, – отвечал видный мужчина, терпеливо выжидая с нагнутой бытылкой, пока осядет пена в стакане старичка. – Харитон Сидорыч! – продолжал он, дополнив стакан, совсем другим тоном: – что вы там, заснули, что ли? рыбу удите?

– Чего изволите? – подобострастно сказал худо причесанный господин, почтительно вставая.

– Приросли, что ли, к месту-то, батюшка? мне гостей помнить или вас? Могли бы и сами подойти… я вина не жалею… давайте стакан.

Харитон Сидорыч подошел со стаканом, и, когда видный мужчина наполнил его, он молча возвратился на прежнее место.

– Уф, руку отморозил! – сказал видный мужчина, ставя на стол порожнюю бутылку.

– Здоровье Василия Матвеича!

Все взяли стаканы и встали. Встал и курчавый старичок, но он почти не сделался выше.

– Скажи, пожалуйста, – обратилась удивленная Полинька к своей приятельнице, – тут есть какой-то маленький старичок. Что он, без ног, что ли?

– Нет, он уродец, горбун.

– А кто он такой?

– Да в компании с моим мужем. Вот он-то и дает деньги…

– А какой странный, сколько ему лет?

– Говорят, уж пятьдесят с лишком.

– А лицо, точно как у ребенка; волосы почти все черные! А глаза-то, глаза…

– У него отличные глаза, – заметила Надежда Сергеевна.

– Да, большие, черные, только как противно их прищуривает! А брови как нахмурит вдруг, так даже страшно делается… Он, должно быть, презлой…

– Муж уверяет, что он прекрасный человек… – Он так хвалит твоего мужа…

– Муж говорит, что он даже бедным помогает.

Вдруг занавеска с шумом распахнулась: вошел видный мужчина. Его глаза так блестели, щеки были так красны, а телодвижения так размашисты, что Надежда Сергеевна испугалась и побледнела.

– Что нужно? – быстро спросила она.

– Пуншу! – отвечал видный мужчина. – Мы пили, пили шампанское… да что толку?.. Только слава, что вино!.. Так уж вы, Надежда Сергеевна, поусердствуйте, а мы всегда с нашей благодарностью.

И он хотел обнять ее. Но она с отвращением уклонилась.

– Полно, пожалуйста; не нежничай! лучше перейдите в другую комнату, а то детей перебудите!

– Дети… а! Петька, вставай!

И видный мужчина шел к кроватке ребенка.

– Тише; ну зачем вы его поднимаете? – сказала Полинька, скрывавшаяся в углу комнаты.

– А, Палагея Ивановна! как поживаете? не угодно ли к нам? – закричал видный мужчина.

Надежда Сергеевна дернула Полиньку за платье и покачала головой.

– Нет, я сейчас пойду домой, – отвечала Полинька.

– Ну, как желаете… Так налей же пуншу, да позаботистей!.. Ну, что хмуришься?.. ведь ты у меня умница!

И он обнял ее за талию,

– Оставь меня! – сердито сказала она.

– Не годится, нехорошо! Добрая жена не должна сердиться на мужа… муж глава… Ее дело смотреть за детьми… Ах, дети! дай я их покажу!

– Они спят, не трогай! – твердо сказала мать, подходя к кроватке сына.

– Не умничай! – сердито возразил видный мужчина.

– Я не позволю, не позволю!

И она смело посмотрела ему в глаза. Но он подошел, к кроватке и закричал:

– Эй! Петька! вставай!

Сын проснулся и приподнялся.

– Вылезай: пойдем кутить!

– Боже! – воскликнула мать и в изнеможении села на диван.

Видный мужчина взял ребенка и в одной рубашке понес его к гостям.

Ребенок начал плакать; отец грозил ему:

– Ну, молчать, а не то смотри!

Полинька подошла опять к занавеске и видела, как он поднял ребенка над головой и закричал:

– Господа! вот вам будущий книгопродавец Кирпичов; прошу любить да жаловать!..

– Я боюсь, чтоб они не дали ему вина! – с отчаяньем сказала мать и тоже подошла к занавеске.

Отец учил сына танцевать; сын хмурился и готовился разреветься.

– Господа, выпьем за здоровье будущего миллионера!.. – сказал маленький горбун, – Хе, хе, хе!

– Браво, браво! – гаркнули все так дружно и громко, что ребенок страшно испугался, кинулся к отцу и пронзительным плачем присоединился к общему хору.

– Вина, скорей вина! – закричал видный мужчина, и остальные заревели:

– Да будет он достоин своего отца!

Чокнулись и выпили.

– Мама! – простонал ребенок.

– Господа, – заметил видный мужчина, – извините будущего миллионера: ему хочется спать… Скорей еще вина!

Пробка щелкнула, вино зашипело. Артельщик, красный столько же, как и гости, непомерно лил через край.

Видный господин подошел к столу взять стакан; Петя почувствовал себя свободным и бегом пустился к дверям, бойко топая маленькими ножками; мать приняла его в объятия, крепко прижала к сердцу, и ее крупные слезы падали на детскую головку…

– Прощай, я пойду домой, – сказала Полинька, грустно смотря на Надежду Сергеевну.

– Прощай; как же ты одна пойдешь?

– Возьму извозчика. А ты дай мне адрес того горбуна: я завтра понесу к нему свои вещи.

Позвали артельщика и спросили адрес.

– Ты проси больше, – заметила Надежда Сергеевна, когда красный артельщик, наговорив кучу лишних слов, удалился нетвердым шагом. – Он даст тебе втрое меньше, чем ты попросишь…

– Отчего?

– Уж у них так водится, говорит мой муж: иначе нельзя… Впрочем, муж говорил, что он честный человек.

– Я завтра непременно пойду к нему. Прощай!

– До свидания, Полинька! Смотри, не раздумай, не отговори своего жениха! Поверь мне: если он тебя истинно любит, так не разлюбит в два, в три года… А не то вы еще можете оба раза по три влюбиться.

Проводив такими словами свою приятельницу, Надежда Сергеевна стала укачивать ребенка.

В соседней комнате по-прежнему раздавались веселые крики и хохот, а лицо бедной матери становилось все задумчивей.

О чем она думала? какие мысли, какие воспоминания омрачили ее лицо, и всегда невеселое?..

Глава V
Душеприказчик



В одном селе умер помещик. По истечении сорока дней барыня приказала созвать всю дворню, явилась перед ней вся в черном и прочла волю покойного: вся дворня за усердную службу отпускалась на волю, а дворецкому, камердинеру, кучеру и повару назначалась еще особая награда, каждому по пятисот рублей. Барыня уже кончила чтение, но глубокое, торжественное молчание не нарушалось… И долго никто не мог сказать слова; только радостные слезы сверкали в глазах слушателей. Наконец общее чувство выразилось в единодушном, в одно время у всех вырвавшемся восклицании: «Царство небесное доброму барину!..» – и, видно, оно было непритворное и неподготовленное, потому что бумага выпала из рук барыни, и слезы градом полились по ее бледному лицу, когда оно раздалось в воздухе… оно было повторено три раза, и три раза как-то радостно и торжественно дрогнуло сердце помещицы… Долго в тот день не умолкали дружные, горячие толки о добром барине в радостной дворне… Наконец каждый стал думать о себе, и тут опять бесконечные толки: видно, много новых мыслей и планов прихлынуло в их голову с новым положением.

– Ты что станешь делать, брат? – спросил Дорофей, кучер, своего брата, камердинера.

– Я в Питер, – отвечал камердинер, у которого была там зазнобушка, – дело знакомое: каждый год катались туда с барином… да и город знатный!

– Ну, в Питер, так в Питер, с богом!.. А вот я так подержусь около здешних мест… Попробую поторговать: не даст ли бог счастья.

– В добрый час начать!

Наутро Дорофей еще спал, когда двери сенного сарая с визгом растворились и внизу раздался голос:

– Вставай, Дорофей!

– Что так рано?

– Да я совсем собрался… Прощай!

Дорофей, весь в сене, скатился и с изумлением сказал:

– Как так? Да неужто ты так вот сегодня и в путь?

– Сегодня. Я еще вчера уж и у барыни был: прощался; письмо дала…

– Вишь, сердечному не терпится! Смотри, брат, коли так, так знатно! а коли чуть что не заладится, поезжай сюда. Здесь найдем дело.

– Ладно, увидим…

Братья выпили, закусили, покалякали, поцеловались, причем несколько стебельков сена из бороды Дорофея осталось на лице камердинера, и отправились в ближайший город. Там они опять выпили и покалякали, поцеловались, поплакали и разошлись в разные стороны…

С тех пор они не видались. Бывший камердинер женился в Петербурге, жил бедно, сначала писал к брату, потом вдруг писать перестал, и, наконец, Дорофей получил известие, что он умер. Дорофея ждала другая карьера: малый сметливый, грамотей, деятельный, обуреваемый беспокойным духом стяжания, он скоро почувствовал надобность преобразовать свою бороду из кучерской в купеческую, для чего укоротил ее в длину и увеличил в ширину, округлив и расчесав на две стороны. Сначала разъезжал он из села в село с пряниками, рожками, тесемками, бисером, мылом, иголками и даже книгами, занимаясь в то же время не без выгоды лечением лошадей – искусство, в котором изощрился еще в кучерской должности. В ту эпоху к имени его Дорофей стали прибавлять: Степаныч. Потом открыл он в городе Шумилове постоянную лавочку, в которой висело десятка три хомутов, гужи, веревки, шлеи, уздечки, чересседельники, подпруги, попоны, причем на вывеске к имени и отчеству прибавилось прозванье: Назаров. Определившись, таким образом, совершенно, он мало-помалу расширил круг торговой своей деятельности и кончил тем, что чрез тридцать лет из пятисот рублей, завещанных ему барином, сделал он до двухсот тысяч.

Но за постоянными, судорожными хлопотами, вечно занятый своими оборотами, он не успел жениться, обзавестись семейством, и теперь на старости лет приходилось ему доживать век свой в совершенном одиночестве.

А здоровье его с каждым днем расстраивалось, и, наконец, старик слег и почувствовал, что уж ему не встать с постели.

Самым близким к нему человеком был в то время один молодой купец, который сначала служил у него приказчиком, а потом, сделав несколько счастливых спекуляций, записался в вильманстрандские купцы, завел собственную лавчонку и торговал в компании с прежним своим хозяином. Вильманстрандский купец не отличался качествами слишком привлекательными; но привычка и одиночество сильно привязали к нему Назарова, и ему-то довелось выслушать последнюю волю и принять последний вздох старика.

В комнате с закрытыми ставнями, правый угол которой весь заставлен был образами, освещенными лампадой, медленно угасал старый купец, мучимый жестокой одышкой, захватывавшей его дыхание и грозившей с минуты на минуту прекратить его дни.

Уже пятый день молодой купец не отходил от его постели, подносил ему лекарство, поправлял подушки и читал св. писание, о чем просил старик всякий раз, как чувствовал малейшее облегчение.

Старик был огромного роста, и его крепкие мускулы, резко обозначавшиеся на худом, измученном лице показывали, что смерть одерживала здесь нелегкую победу.

Он громко охал, крестясь дрожащей рукой, призывая имя божие и повторяя невнятным голосом все знакомые ему тексты св. писания. Вильманстрандский купец сидел против него, пересиливая дремоту, которая после многих бессонных ночей упорно смыкала его глаза.

– Слушай, молодец! – начал старик слабым, удушливым голосом, приподнявшись на своей постели и показав широкую и худую обнаженную грудь, на которую в беспорядке падала его белая, как снег, длинная борода. – Недолго мне остается жить. Я все поджидал, думал, вот отойдет; но, видно, господа я прогневил свыше его милосердия… час мой настал! Выслушай же мою последнюю волю и сверши за меня, чего не успел я, многогрешный…

Сонливость молодого человека в минуту прошла. Он весь встрепенулся при последних словах старика и жадно наклонился к нему, будто бы страшась проронить слово.

Но старик заохал, закашлялся, и нетерпеливое волнение пробежало по лицу молодого человека. Собравшись с силами, старик продолжал:

– У меня был брат…

– Но ведь, он умер? – быстро перебил молодой человек.

– Умер, в Питере (царство ему небесное!)… После брата осталась жена.

– Да ведь и она тоже умерла? – перебил опять Вильманстрандский купец.

– Умерла, – отвечал старик, – тоже умерла (и ей царство небесное, хоть она и не православная была, прости ее господи!). Но после них осталась…

По лицу слушателя пробежало живейшее беспокойство. Он удвоил внимание; но старик закашлялся.

– Кто же остался после них? – нетерпеливо спросил молодой купец.

– После них осталась дочь, – твердо произнес старик.

Вильманстрандский купец побледнел, как смерть.

– Как? – вырвалось у него: – вы мне никогда не говорили, что у вас есть наследники!

– Незачем было говорить! – строго отвечал старик.

Молодой человек спохватился.

– Что ж она, в каком положении? – спросил он с участием: – жива она? замужем? дети есть?

– Ничего не знаю! – отвечал старик: – может жива, а может нет…

Вильманстрандский купец вздохнул свободнее.

– Грешный человек, вишь ты, не ладил я с покойником; да и он-то неправ: женился на чухонке: прости ему господи! иноверицу взял – ни совета, ни просьбы моей не послушал… Господь, видно, за то и не благословил его; уж перед смертью письмо пришло от него: прости, говорит, умирающему, призри вдову, – в бедности покидаю… После уж и вдова писала ко мне. Я было и хотел помочь от избытков моих, да, грешный человек, сегодня да завтра, так вот и до смертного часа не собрался… А тут недавно получил стороной весть, что и вдова-то умерла… Осталась ли нет в живых одна сирота, племянница… Грех на мою душу падет, коли она погибнет в нужде… не хочу брать лишнего греха на душу…

Продолжительный монолог утомил старика. Он опустился на подушку, закрыл глаза, и только громкое и редкое дыхание, мерно раздававшееся в могильной тишине комнаты, свидетельствовало, что в нем еще не угасла жизнь.

Лицо вильманстрандского купца также было по-своему страшно: досада, гнев, бешенство, отчаяние выражались на нем резкими чертами. Он кусал свои губы, устремив неподвижный проницательный взор на полумертвого старика и будто вызывая его на бой…

Но старик вдруг открыл глаза, – молодой человек поспешил придать своему лицу почтительное и грустное выражение и тихо, вкрадчивым голосом спросил:

– Что ж думаете вы делать, Дорофей Степаныч?

– Осчастливить сироту, коли бог по милости своей попустит мне, окаянному, загладить мои великие прегрешения… Других родных у меня никого нет… мне свое добро не в могилу с собой унести…

– Так вы хотите сделать ее своей наследницей?

– Что ты, парень, как кричишь? – слабо перебил старик: – просто испугал меня… о-ох!

И старик закашлялся. Вильманстрандский купец прошелся по комнате.

– А ты слушай, – начал старик, – легко сказать: сделай наследницей! Да где теперь ее сыщут? как наследство-то до нее дойдет?.. Родилась, живет в бедности… поди и грамоте-то не знает. В газетах припечатают; да где ей газеты смотреть? Сроки пропустит…

Старик замолчал. Лампада бросала слабый, дрожащий свет на его бледное, худое лицо, которое теперь приняло неподвижность смерти. С испугом и мучительным нетерпением ждал молодой человек, когда старик снова соберется с силами.

Наконец умирающий открыл глаза, приподнялся и продолжал:

– Так вот, видишь, что я придумал слабым моим разумом, прости меня господи! Сослужи мне службу, друг! Господь тебя не забудет.

– Я все готов сделать для моего благодетеля, для моего второго отца…

– Да и я тебя не обижу, друг, – не оставлю без награды твои сыновние попечения: лавка твоя, дом твой; я уж и дарственную запись приготовил.

– Благодетель! – воскликнул радостно вильманстрандский купец, стал на колени и поцеловал руку умирающего.

– Только ты верно сослужи мне службу, – продолжал старик: – тотчас, как господь бог сподобит мне преставиться, поезжай в Питер, отыщи племянницу и в собственные руки отдай ей духовную (она у меня уж заготовлена) и билеты здешнего Приказа…

– Именные?

– Именные, – отвечал старый купец, – да в духовной, понимаешь, прописано, что она моя наследница единственная, – так, дело видимое, ей после меня и выдача следует…

– Так, – сказал молодой человек, – а сколько тысяч по всем билетам приходится?

– Сто шестьдесят пять, – глухо проговорил старик.

– Сто шестьдесят пять тысяч! – воскликнул вильманстрандский купец с отчаянием. – Ну, будет добром поминать благодетеля! – поправился он, обратив к умирающему светлый и добродушный взор; но, увидав, что глаза старика сомкнуты, вильманстрандский купец дал волю своим чувствам, и глаза его засверкали отчаянием и злобой.

Пока старик охал и кашлял, творя крестное знамение и шепча молитву, много тревожных ощущений пронеслось по лицу молодого человека. Наконец оно несколько успокоилось, даже радостное чувство мелькнуло в нем на минуту, и молодой человек нетерпеливо, но осторожно прошептал:

– Дорофей Степаныч! а сколько лет примерно теперь вашей племяннице?

– Да, надо быть, не то осемнадцать, не то девятнадцать, – отвечал старик. – О-ох! как-то она, сердечная, там теперь мается, без отца, без матери, – продолжал старик, останавливаясь на каждом слове, – поди, голодна и холодна, на тяжелой работе убивается… Кто пригреет сироту, кто за нее заступится?.. Кому заступиться, коли дядя родной отступился?.. Отступился, окаянный, от сироты, родной племянницы, – заключил старик, нечаянно возвысив голос, принявший вдруг грозное и торжественное выражение, – господь бог отступится от него, окаянного!

С последним словом старик громко зарыдал. «Уж не кончается ли он?» – подумал с испугом молодой купец.

– Дорофей Степаныч! – шепнул он, – нагнувшись к рыдающему старику, – а, Дорофей Степаныч!

Старик продолжал рыдать, но рыдания его становились все тише и тише; казалось, звуки замирали в его груди, напрасно силясь вырваться на свободу, и только отголоски их раздавались в комнате. Наконец старик совсем смолк, и только судорожное подергивание лица показывало, что пароксизм еще не кончился.

– Дорофей Степаныч! – повторил тихо молодой человек.

Старик зашевелил губами, но они не издали звука. Он делал страшные усилия, но голос не повиновался ему.

Вильманстрандский купец с ужасом увидел, что старик лишился языка.

Прошло часа два. В продолжение их старик несколько раз делал усилие заговорить, и всякий раз с надеждой и мучительным страхом наклонялся к нему молодой человек; но усилия старика были напрасны.

Ему становилось всё хуже и хуже. Наконец он поманил к себе молодого человека, благословил его и показал ему на свою подушку. Догадавшись, в чем дело, молодой купец засунул руку под подушку и достал оттуда пакет. Старик развернул его дрожащими руками; там было два листа с гербовыми печатями, четко исписанные, и несколько билетов. Умирающий поодиночке показал молодому купцу билеты и документы, делая при каждом толкование без слов, потом снова вложил все в пакет и с благословением передал своему душеприказчику. К утру старик умер…

Весна, четвертый час пополудни. Солнце ярко блестит на Невском проспекте; по тротуарам с журчаньем бегут ручьи, стекающие из труб; монотонно и мерно, с глухим шумом падают крупные капли с страшной высоты. Снегу нет, грязный песок, взбороненный беспрестанной ездой, лежит мрачными массами в тени, солнечная сторона улицы прихотливо испещрена озерами, по которым местами образовались острова. Вся широкая улица загромождена экипажами, представляющими по странной смеси своей разнообразное и оригинальное зрелище. Чуть виднеются низкие санки, с глухим стуком обрушиваясь в рытвины, и то плывут по воде, то визжат пронзительно, прорезывая камни полозьями; высоко поднимаются и гремят колесами кареты и коляски, сильно раскачиваясь. Тротуары еще оживленнее; народу множество; даже собаки все до одной высыпали из своих домов и снуют под ногами гуляющих; и каких тут нет собак! и маленькие, и большие, и мохнатые, и голые – синие с лоском, как бритва, которою их выбрили, – и пестрые, и коричневые, и черные, и совсем белые; словом, нигде нельзя увидать такого множества разнороднейших собак, как в ясный весенний день на Невском проспекте. Гуляющие раскланиваются, сталкиваются, извиняются и обмениваются выразительными взглядами, сердятся…

– Ах! – обиженным тоном вскрикивает пожилая дама, идущая под руку с румяным кавалером.

Румяный кавалер не хочет понять, что толкнуть в тесноте нечаянно – дело очень естественное; в его голове тотчас составляется страшная драма. Смерив грозным взглядом неловкого господина, впрочем совершенно невинного, – платье дамы так длинно, что само подвертывается под ноги, – он восклицает:

– Милостивый государь! вы наступили моей даме на платье!

– Извините, я нечаянно!

– Как нечаянно?..

И румяный кавалер, стукнув палкой, вместо тротуара, по ноге своей даме и позабыв извиниться, сердито продолжает путь. Он чувствует себя глубоко обиженным и долго ворчит: «Как можно такому множеству народа ходить по одной стороне?.. а все оттого, что везде черный

народ!» И если в ту минуту не встретится ему ни один мужик, он все-таки останется при своем мнении…

Сколько в такие дни погибает дорогих и прекрасных платьев!

С гордой беспечностью подметает разряженная дама своим длинным платьем грязную улицу, будто величаясь пренебрежением к нему и всенародно показывая, что ей ничего не стоит испортить такое дорогое платье. Положим, она в состоянии купить дюжину таких платьев, а ножки? Мокрые ботинки безобразно раздулись, и бедные ножки, иногда в сущности очень хорошенькие, изредка появляясь, производят впечатление убийственное. С ужасом смотрят порядочные люди на гордо выступающую даму; но она приписывает их взгляды своей красоте, своей богатой шляпке с пером и бросает с своей стороны язвительные взоры на тех дам, которые, грациозно приподняв платье, осторожно переходят грязь и доставляют случай увидеть свои маленькие ножки, со вкусом обутые…

Но пускай себе ходят и одеваются, как хотят, богатые дамы.

В толпе, переходящей улицу от Гостиного двора, видим мы бедную девушку, в синей шляпке и синем салопе, с небольшим свертком. Сани, дрожки, кареты, коляски, курьерские тележки тащатся и летят своим порядком, брызгая грязью; но храбрейшие пешеходы отважно мелькают между лошадьми, не смущаясь потрясающими криками кучеров. Соскучась выжидать, девушка тоже пустилась вперед; за ней последовал высокий господин, с лицом зверски-мрачным, но полным и краснощеким, которому – дело ясное – судьба предназначала выражать ощущения, не столь свирепые.

Вдруг раздался, женский визг, слившийся с криком: «пади, пади!» Проворно перебежав улицу, девушка с любопытством оглянулась: высокий господин, как ошеломленный, стоял среди глубокой лужи и трагическим взором следил – очевидно, за ней; парные сани чуть не задели его, но кучер ловко свернул в сторону и только обдал его с ног до головы грязью… Девушка пошла своей дорогой. Мрачный господин перебежал улицу, вытерся, отряхнул грязные сапоги и пустился преследовать синюю шляпку, сбивая с ног встречных. Девушка, повидимому, ничего не подозревала: она шла то скоро, то останавливалась перед окнами богатых магазинов, или, пораженная гордо выступавшей дамой, завистливо осматривала ее платье. Наконец, перейдя Аничкин мост, она проворно скрылась в воротах одного дома, в нижних окнах которого виднелись шляпки, чепчики и наколки. Мрачный господин долго любовался ими, прохаживаясь мимо, наконец занес ногу на крыльцо магазина, но вдруг раздумал – и пошел в трактир, напротив. И скоро в форточке явилась его мрачная, тщательно причесанная голова, с глазами, устремленными на окна магазина…

Мрачный господин часто провожал девушку; но она не замечала его: он всегда держался в почтительном отдалении.

Раз вечером, когда легкий мороз высушил тротуары и затянул, точно слюдой, лужи, та же девушка в той же самой шляпке вышла из ворот, с маленькой корзинкой. Высокий господин как из земли вырос и пошел за ней. Девушка очень спешила, опасаясь скорых сумерек. Мрачный господин долго держался, по своему обыкновению, в почтительном отдалении, наконец вдруг поравнялся с ней и пошел рядом. Он два раза раскрывал рот, но, видно, слова не шли с языка, и он ограничивался выразительным покашливанием. Привыкшая к таким любезностям уличных гуляк, девушка насмешливо улыбалась и прибавляла шагу…

– Вы куда-то спешите? – проговорил, наконец, мрачный господин нетвердым голосом.

Она молчала и шла дальше.

– Позвольте мне вас проводить, сударыня.

Не взглянув ему в лицо, девушка отвечала обиженным тоном:

– Вы, кажется, уж и без позволения провожаете…

– Я-с? помилуйте!..

Мрачный господин смешался. С минуту он шел молча, потом произнес с расстановкой, будто рассуждая с самим собой:

– Какая приятная погода – подмораживает! Утром было очень грязно… Я вас имел счастье видеть сегодня, сударыня.

– Ах, боже мой! – воскликнула девушка и, дернув плечом, отвернулась.

– Я вас давно знаю! – воскликнул мрачный господин отчаянным голосом. – Вчера вы изволили ходить в Гостиный двор, третьего дня – на Адмиралтейскую площадь, четвертого – в Гороховую. Видите, я все знаю, все!..

Вспыхнув краской удовольствия – за ней еще никто так усердно не ухаживал, – девушка уже не так резко спросила:

– Да почему вы меня знаете?

– Я почему вас знаю, сударыня… я?!.

– Да, вы, почему?

– Я изумлен, очарован, околдован, прикован, сударыня, вашей красотой, я…

– Вот глупости какие, – возразила девушка и сердито перешла улицу.

Точно особенной красоты в ней не было; но она была молода и свежа; добрые голубые глаза, приятная улыбка, веселое и беспечное выражение лица – все вместе придавало ей много привлекательности. Одета она была довольно бедно, но опрятно.

– Я вас не оставлю! – кричал, перебегая за ней дорогу, высокий господин. – Я должен с вами объясниться!

– Что вы так пристали ко мне? – сказала девушка с притворным гневом, которому противоречило ее лицо.

– Сударыня, выслушайте меня!

– Я и так вас много слушала.

– Где я могу вас видеть, чтобы с вами переговорить?

– Нигде!

– Вы далеко идете теперь?

– А вам на что?

– Ах, скажите!

– Не скажу! – поддразнивая, отвечала девушка.

– О, жестокосердная! – воскликнул мрачный господин трагическим тоном.

Девушка рассмеялась.

– Чему вы смеетесь?

– Оттого, что мне смешно.

– Верно, надо мной?

– Может быть.

– Вам меня не жаль?

– Нисколько. Я вас совсем не знаю. Прощайте!

И девушка побежала в ворота многоэтажного дома.

– Вы скоро выйдете? – закричал ей вслед высокий господин.

Девушка приостановилась.

– Я здесь живу, – отвечала она.

– Неправда! вы живете за Аничкиным мостом, в доме купчихи Недоверзевой.

– А вы почем знаете? – с удивлением спросила девушка.

– Я?.. я знаю все, что до вас касается…

– Воображаю!

– Я знаю, что ваша мадам очень сердита… Как вас зовут?..

– Как? ну! скажите?

Мрачный господин немного подумал и отвечал сладким голосом:

– Прелестное созданье!

– А вот и не знаете! Прощайте!

Девушка с хохотом убежала. Проводив ее глазами, мрачный господин остался у ворот. Он вынул из кармана щеточку с зеркальцем и, полюбовавшись собой, пригладил свою голову, завитую мелкими колечками и сильно напомаженную; потом обдернул свой новый вычурный пальто цвета леопардовой шкуры, провел рукавом по шляпе, и без того лоснившейся, и надел ее набекрень… Но вдруг лицо его, сиявшее самодовольствием, омрачилось заботой. Он бегом пустился по улице, толкая прохожих.

Девушка скоро явилась, уже без картонки, и, не застав высокого господина на прежнем месте, нахмурилась, осмотрелась, кругом и тихо пошла домой. Через минуту она услышала за собой скорые шаги и тяжелое дыхание. Лицо ее прояснилось; она ускорила походку, потом вдруг обернулась и вскрикнула, будто с досадой и удивлением: «ах!»

Мрачный господин, задыхаясь, показал ей пеструю бонбоньерку.

– Позвольте мне вам…

– С чего вы это взяли? – обиженным тоном возразила девушка.

– Я с благородным намерением, сударыня! – отвечал он скороговоркой.

– Помилуйте, я вас совсем не знаю! – сказала девушка несколько мягче.

– Что же такое, сударыня? когда человек с благородным намерением дарит такую безделицу, то…

– Я боюсь: мадам увидит. Вы сами сказали, что она сердитая.

– Вам нечего бояться, сударыня! я не то, что другие. Я, можно сказать, готов для вас на все!

Девушка покраснела.

– Воображаю!

– Да, сударыня; я прошу вас, доставьте мне случай говорить с вами…

– Как вам не стыдно! что вы ко мне пристали! – воскликнула девушка, серьезно обиженная, и, перебежав улицу, скрылась в воротах дома купчихи Недоверзевой.

Скрестив руки и нахмурив брови, мрачно смотрел высокий господин на бежавшую.

Девушка вошла на темное крыльцо, отворила дверь и скоро достигла большой и мрачной комнаты, выходившей окнами на маленький двор, с огромной ямой и множеством навесов, обнесенный бесконечно высокой стеной с бесчисленными окнами. Несмотря на холод, многие окна были открыты, как летом; перед ними работали мастеровые всех родов, с песнями, страшным стуком и криками. Стены дома были испещрены вывесками, а на лестницах красовались голубые руки с протянутым указательным пальцем, не приносившим, впрочем, никакой пользы: приходивший со свету на темную лестницу ничего не видал и должен был стучаться в первую дверь, чтоб навести справку.

Поперек комнаты, куда вошла девушка, тянулся бесконечный некрашеный стол, загроможденный лоскутками и картонными болванами, беспощадно истыканными; ножницы поминутно стучали по столу. Пол комнаты был усеян обрезками, стены увешаны неоконченными платьями и салопами.

За больший столом сидело восемь девочек, предводительствуемых пожилой швеей, с рябым, некрасивым лицом. Перед другим, небольшим столиком, у окна, сидел мужчина лет пятидесяти, с пухлым и бледным лицом. Его огромные мутно-черные глаза, с выражением бесконечной глупости, были полузакрыты, как сонные, и только изредка раскрывались совершенно. Но и полуоткрытые и вытаращенные, они неподвижно были устремлены на одну девочку лет четырнадцати, которая помрачала всех остальных своим хорошеньким личиком и называлась (конечно, в насмешку) «красавицей». Одежда пухлого господина была оригинальна: желтые брюки, желтая курточка и розовый платочек, повязанный с таким совершенством, что уже не казалось странным видеть между его коленами картонного болвана, с гла-

зами, оживленными не меньше его собственных. На болване торчал кружевной чепчик, и господин в желтых брюках с большою грациею украшал его лентами. Рядом с ним сидела женщина, толстая, с волосами почти белыми, с лицом сморщенным и серыми глазами, необыкновенно живыми. То была мадам Беш, содержательница магазина и супруга господина Беша, накалывающего банты. Она считала вслух, с чухонским произношением, петли, крючки и пуговицы, когда вошла девушка в синей шляпке. Мадам встретила ее крикливым вопросом:

– Что долго хадиль?

– Не близко посылали! – отвечала девушка. – Вот деньги за чепчик.

Мадам приняла деньги и, считая их, протяжно спросила:

– Гу-ля-ла, а?

– Каролинхен! – нежно пропищал супруг, любуясь оконченным чепчиком.

– Ах, сбиваешь! – сердито крикнула мадам и продолжала считать: – раз рубль, два рубль…

– Королинхен! хорош ли так? понравится ли их превосходительству?

Господин Беш тоже нечисто говорил по-русски.

Каролинхен с нахмуренными бровями осмотрела чепчик, сосчитала банты, которых оказалось с десяток, и повелительно сказала:

– Мало бант!

– Легче будет.

– Мало бант! – резко повторила супруга.

Вдруг раздался пронзительный звон колокольчика. Хозяйка, оправившись, кинулась в стеклянные двери с зеленой тафтой, а супруг вытаращил Сонные глаза на «красавицу», которая проворно шила. К ней подсела девушка, уже известная нам, казавшаяся без шляпки гораздо красивее: густые белокурые волосы делали личико ее еще свежее.

– А что? – тихо шепнула она своей соседке: – рябая не бегала под ворота?

– Нет, она кроила, а мадам сердилась.

– Пусть сердится! А меня сегодня какой-то господин провожал; так пристал ко мне!

– Вчерашний?

– Нет; должно быть, богатый: конфет мне купил.

– Ах, не увидели бы!.. где они?

– Нет, я их не взяла.

Лицо мадам Беш показалось в дверях; она кликнула белокурую девушку.

Как только белокурая девушка, приглаживая волосы, скрылась, господин Беш поставил своего болвана, подошел к «красавице» и с словом: «держите» грациозно надел ей на руки моточек шелку. Затем с невыразимо сладкой улыбкой он все подвигался к ней и, наконец, подвинулся так, что девушка невольно отшатнулась; шелк спутался.

– Ах, какой неосторожна! – сердито воскликнул господин Беш.

– Хорошенько ее, Эдуард Карлыч! – злобно проговорила рябая швея.

Господин Беш медленно возвратился на прежнее место к столику и поманил девушку; но, видя, что она не движется, он крикнул: «Подить суда!»

«Красавица» повиновалась, но страшно покраснела: подруги ее перешептывались и двусмысленно улыбались; а рябая швея прошипела вслед ей: «Мотайте! мотайте! вот я мадаме скажу!..»

«Красавица» стояла перед господином Бешем; господин Беш мотал шелк и поминутно распутывал узлы, причем так близко наклонялся губами к рукам девушки, что она чуть не плакала и пятилась прочь; но господин Беш поминутно притягивал ее к себе…

Насмешки подруг становились все громче. Бедная девушка, красная, с заплаканными глазами, стояла ни жива, ни мертва…

Дверь с тафтяной занавеской скрипнула: вошла мадам Беш. Господин Беш стремительно схватил и поставил на колени картонного болвана, будто эмблему своей невинности; а может быть, он надеялся найти в нем защиту против гнева супруги. С мотком в руках «красавица» осталась на прежнем месте.

Окинув испытующим взором сначала господина Беша – с ног до головы, – потом «красавицу», мадам Беш резко скомандовала: «На место!» Девушка с радостью повиновалась. Рябая швея строго погрозила ей пальцем.

Каролинхен горячо заговорила по-немецки, и тоже нечисто. Супруг, потупив голову, слушал молча и собирал рюш. Ссору покончила вошедшая белокурая девушка, которая сказала: «Вот задаток оставили» и подала гневной супруге красненькую. Потом она села на прежнее место и осторожно шепнула своей взволнованной соседке:

– Что, видно, опять к тебе приставали?

– Тише: рябая слушает! – отвечала «красавица», нагнувшись, и будто поднимая лоскуток.

Они замолчали; но лицо белокурой девушки выражало сильное волнение: видно было, что мучит ее желание сообщить подруге важную тайну. Наконец, улучив минуту, она шепнула соседке: «Знаешь ли, кто был?.. он!»

– Ах, а мадам?

– Ничего; она скоро ушла, а мне приказала хорошенько понять, какого ему чепчика хочется.

– Ножницы! – неожиданно крикнула рябая швея и тем положила конец разговору.

Мрачный господин целые дни проводил на тротуаре; каждый раз, когда белокурая девушка выходила со двора, они встречались, как знакомые. Если с ней был узел, он нес за нее, и всю дорогу они горячо толковали.

Случалось, она выходила к воротам, – мрачный господин непременно торчал тут; они менялись короткими словами, и девушка поспешно убегала.

Раз, в воскресенье, она шла с ним под руку, у Большого театра. Он уговорил ее войти в кондитерскую и самым отчаянным голосом приказал подать шоколаду, кофе, мороженого, конфет, пирожков – всего…

– Осчастливьте: скушайте! – говорил он девушке.

– Уж довольно; благодарю; мне ничего не хочется.

– Пить вам не угодно ли? Эй, оршаду! лимонаду! – кричал он в дверь. – Живее, живее!

– Не надо, не надо! право, я ничего не хочу.

– Отчего же вы ничего не желаете? Осчастливьте: скушайте! А вашу приятельницу не пустили сегодня?

– Да Эдуард Карлыч ушел со двора, а уж мадам тогда ее не пускает… А все рябая ей наговаривает. Он прежде за ней ухаживал, а теперь все к нам пристает; так вот ей и досадно…

Девушка остановилась, услыхав в соседней комнате звон колокольчика и мужской голос, требующий рижского бальзама.

– Ах, кто-то пришел! – прошептала она с испугом, доказывавшим, что она в первый раз в кондитерской.

– Не беспокойтесь: никто сюда не войдет.

– Я боюсь, чтоб рябая не пришла! у ней тут близко родные живут. Ах, как она нам надоела: каждый день у меня ссора то с мадамой, то с Эдуардом Карлычем; а все она…

– Вот видите, – с упреком заметил мрачный господин, – а вы не согласны!

– Как можно? я бедная! у меня ничего нет, никого родных нет… как можно!

Девушка заплакала.

Мрачный господин прошелся по комнате, принял перед зеркалом трагическую мину и произнес глухим голосом:

– Я говорил вам, что я с благородным намерением: я прошу вашей руки!!!

– Я бедная! – рыдая, возразила девушка.

– Зато я богат… Что золото, когда тут любовь… любовь! – повторил громогласно высокий господин. – А я вас люблю, обожаю, боготворю-с. Мне ничего не надо, кроме вашей руки, царица души моей!

– Не могу же я оставить одну свою сестру…

– Какую сестру?

– Так я подругу свою называю. Ее, бедную, там заедят!

– Она может переехать к вам…

– Ах, в самом деле! – живо воскликнула девушка; лицо ее прояснилось, и она с такой благодарностью посмотрела на мрачного господина, что он смутился и стал поправлять свои завитые волосы.

– Право, не знаю, как вас благодарить, – сказала тронутая девушка. – Вы так добры, что, верно, не обманете бедную…

Мрачный господин прервал ее страшными клятвами.

– Я вас люблю, сударыня, люблю с благородным намерением, – повторял он, – и если вы согласны, так хоть завтра же переезжайте на мою квартиру с вашей подругой… Я все приготовлю.

– Как можно! я к вам не поеду!

– Ведь вы будете там одни, а я поживу в другой квартире… Не верите мне, так, пожалуй, в тот же день обручимся, свидетели будут и нас окликнут… Согласитесь, осчастливьте!..

Мрачный господин пал на колени и продекламировал с приличными жестами:

Когда с тобой – нет меры счастья,
Вдали – несчастен и убит;
И, словно волк голодной пастью,
Тоска пожрать меня грозит!
Куда ни обращаю взоры, —

(Мрачный господин приостановился, окинул глазами кондитерскую и продолжал:)

Долины, облака и горы —
Все говорит: «Люби! люби!»
Во цвете лет – не погуби!
Не наноси смертельной раны,
Не откажи моей мольбе…
Пусть лучше растерзают враны
И сердце принесут к тебе!..

Он посмотрел на нее долгим, пристальным взглядом: по щекам ее медленно катились слезы; только страх быть обманутой удерживал ее дать немедленно согласие.

– Хорошо, – сказала она. – Завтра я вышлю вам письмо с дворником.

– Ответ будет решительный? – торжественно спросил мрачный господин, вставая.

– Да.

– Извольте, я на все готов! Если не любите, напишите (он сделал трагический жест), я сумею прекратить свои дни!..

– Что вы говорите! – воскликнула девушка, бледнея. С ужасом взглянула она в его лицо, которое было зверски-мрачно, как в тот день, когда он в первый раз провожал девушку, и тихо прибавила: – Я вам лучше теперь скажу все, все… я… я, вас люблю…

В самом деле, романические выходки, постоянные угождения, стихи, брак все так вскружило, ей голову, что она почувствовала себя тоже до безумия влюбленною.

– О, я счастливейший смертный! – восторженно воскликнул мрачный господин.

Она упросила его подождать еще неделю и собралась домой.

– Эй, два фунта конфет, самых лучших! – крикнул мрачный господин.

– Нет, не нужно!

– Для вашей приятельницы… примите…

Воротившись домой, белокурая девушка пересказала все своей приятельнице и дала ей конфеты. Любуясь ими, «красавица» наивно спросила:

– Отчего ты не хочешь скорей согласиться? он тебя так любит! посмотри, какая чудесная корзинка.

– Какая ты глупая! ну, как он меня обманет? Помнишь Соню? опять пришла к мадаме, а та как ее бранила, прогнала… Говорят, она умерла в больнице…

– Неужли?

И обе девушки побледнели.

– Да, страшно; но ведь он не такой; ты сама говорила, что он готов хоть сейчас обручиться…

– Говорил-то много; я знаю, что он меня любит… Ну, а как он бедный: что я тогда буду делать?

– Работать, как теперь.

– В магазин замужнюю не возьмут, а на дому немного наработаешь с хозяйством.

– А как бы мы хорошо жили вместе! мадам как бы разозлилась! а рябая! ха, ха, ха!

И лицо девушки зарделось краской удовольствия; долго она мечтала о счастии жить свободно…

Воскресенье. Рабочая комната выметена, длинный стол пуст; только две девицы гадают на нем. Другие девицы, принарядившись, вертятся у ворот и любезничают с мастеровыми и лакеями; а предпочитающие покой спят на своих сундуках, которые служат им постелью.

Белокурая девушка сидит с своей приятельницей на окне магазина, нетерпеливо поджидая, когда пройдет мрачный господин. А между тем над головами их готова разразиться страшная буря.

Рябая швея, давно наблюдавшая за ними, раз увидела у «красавицы» конфетную бумажку и донесла мадам Беш, что господин Беш дарит «красавице» конфеты. В порыве безграничной ревности мадам Беш кинулась к сундуку «красавицы», взломала могучими своими руками замок – и в ужасе отступила: в сундуке оказалось множество конфет.

Всплеснув руками, мадам Беш выбежала вон и скоро воротилась, таща к сундуку сонного господина Беша, который только что улегся было в большую, мягкую кровать.

– Кто купил? а? – грозно спросила она:

Супруг наивно посмотрел на красивые конфеты, на жену, опять на конфеты и бессмысленно покачал головой.

– Ага! мой все знает! – вскрикнула мадам Беш, и град, немецких ругательств с примесью чухонских посыпался на глупую голову господина Беша. Взгляд оскорбленной супруги был злобен, движения грозны, голос все повышался…

А рябая швея побежала в магазин, где сидели наши приятельницы, и с озабоченным видом сказала:

– Подите-ка! у вас мадам в сундуках шарит!

Встревоженные девушки кинулись в швейную и увидали страшную картину: разъяренная мадам Беш, покрытая красными пятнами, держала у самого носа господина Беша горсть конфет и, притоптывая ногой, повторяла:

«Woher, woher?..»[4]

Супруг же, в одном жилете и парике, немного сбитом на сторону, стоял перед ней с довольно спокойным и неизменно глупым лицом.

Увидав «красавицу», мадам Беш страшно вскрикнула: «А-а! вот она…» и, подняв кулаки, кинулась к ней. «Красавица» спряталась за свою подругу, которая повелительно спросила:

– Что вы хотите делать? разве она украла у вас что-нибудь?

– Я ее высеку, я ее высеку на съезжей! – кричала мадам Беш.

– За что?

– За что… за что… зачем гуляет с мой муж… да, не смей гулять! я и его выс… жаловаться буду! «Красавица» дрожала и плакала.

– Не плачь: я не дам тебя сечь! – твердо сказала ей подруга.

– Как ты смеешь говорить, что не дашь? она виновата!

– Неправда! конфеты дала ей я… и у меня такие же есть!

Заступница вынула из кармана своего передника несколько конфет и показала их ревнивой супруге.

Но разгоряченная мадам Беш не только не успокоилась, напротив – пришла в сильнейшую ярость, как тигр при виде крови: ей представилось, что господин Беш имел основательные причины дарить конфетами всех швей. Крики и слезы продолжались долго. Только к концу сцены господин Беш понял, в чем дело; душевно обрадовавшись, он попробовал защищаться, но голос его замер в криках супруги…

Вечером рябая швея с торжеством глядела на сборы двух девушек и радостно повторяла: «Ага! выжила-таки вас. Вот, подите поголодайте-ка!..» Ломовой извозчик вывез из ворот небольшую поклажу; за ним, на дрожках, выехали подруги, с огромными узлами.

Через неделю мрачный господин обвенчался с белокурой девушкой. Свадьба была великолепная.

– Поздравляю вас, Надежда Сергеевна, и вас, Василий Матвеевич! – говорили один за другим многочисленные гости, встречая молодых.

– Вот бы теперь, – шепнул новобрачному, чокаясь с ним, один толстый гость, по всем признакам актер, – хватить те стихи, что… помните… ха, ха, ха!..

– Ну, теперь справимся и без стихов! – самодовольно отвечал Кирпичов. – Полинька! мы теперь никогда не расстанемся, – говорила Надежда Сергеевна, целуя свою молоденькую подругу. – О, я счастлива!

Кирпичов обходился с своей женой нежно и внимательно. Неделя прошла в полном счастии. Раз, когда Надежда Сергеевна сидела с Полинькой за чайным столом, вбежал Кирпичов и восторженным голосом закричал:

– Радость! радость!

– Что такое?

– Ты наследница… у тебя был дядя в Шумилове, Дорофей Степаныч… он умер и оставил тебе капитал… вот завещание и билеты… приехал оттуда один мой знакомый купец и привез…

Радость Надежды Сергеевны была неописанная.

– Я теперь могу отплатить тебе за все, – сказала она своему мужу. – Я богата; и все мои деньги принадлежат тебе.

Она дала мужу доверенность на получение своего капитала из Шумиловского приказа Общественного призрения, и Кирпичов уехал…

[4] Откуда?

Получив деньги, Кирпичов продал также шорную лавку и дом, оставленные ему, как известно было всем жителям того города, покойным купцом Назаровым, который, умирая, сделал его своим душеприказчиком.

Воротился к жене Кирпичов совсем другим человеком. Начались беспрестанные домашние сцены, которые убедили Полиньку, что ей неловко оставаться в его доме; приятельницы поплакали и расстались. Захватив в руки состояние жены, Кирпичов открыл книжный магазин… Но мы еще к нему воротимся.

Глава VI
Горбун

Часов в девять утра Полинька оделась, завязала в узелок часы и ложки и вышла из дому. Миновав много населенных улиц и переулков, она пришла в переулок совершенно пустой, немощеный и незастроенный. По сторонам его тянулись ветхие, бесконечные заборы, то вогнутые, то выдавшиеся вперед; посредине стояли грязные пруды. Полинька прошла уже половину переулка, но не видала еще ни одного дома; ни людей, ни животных также не попадалось; только вороны и галки, тяжело взмахивая крыльями, перемещались с грязных луж на забор, причем Полинька каждый раз вздрагивала. Наконец однообразие забора нарушилось: показался деревянный дом с закрытыми ставнями, которые походили на заплаты. Черепичная крыша давила гнилое здание, бесконечно длинное. Ворот не было; заметив в заборе небольшую калитку, Полинька дернула за веревку, торчавшую у скобки; на дворе послышались звуки цепей; лай собак, отозвавшийся по всему пустынному переулку; но никто не являлся. Полинька снова дернула за веревку; опять лай и звон – и только. Полинька покраснела и нетерпеливо ударила маленькой своей ручкой в калитку.

– Кого те надо? – раздался хриплый голос.

Откуда? Полинька не могла решить. Казалось, он выходил из-под земли.

В сильном испуге Полинька вскрикнула и, бледная, как смерть, прислонилась к забору.

Подземный вопрос повторился. Она посмотрела с беспокойством по направлению хриплого голоса и увидала в отдушине, которая приходилась в уровень с землей, рыжую голову и улыбающееся лицо, все в коричневых веснушках, с огромным ртом и оскаленными зубами. Оно страшно щурило свои красные, слезливые глаза, пораженные светом.

– Здесь живет Борис Антоныч? – ласково спросила Полинька.

Но рыжая голова вдруг исчезла.

– Здесь, – отвечал другой голос, пискливый и протяжный.

Удивленная Полинька осмотрелась и нерешительно повторила:

– Здесь?

– Здесь.

– Можно его видеть?

– Не знаю! – пробасил третий голос, не похожий ни на первый, ни на второй.

Полинька совершенно потерялась.

– Кто-нибудь, – сказала она строго, – отворите калитку, не то я уйду: мне некогда.

– Сейчас, сейчас! – раздался старушечий голос с удушливым кашлем.

– Мне все равно, – возразила смущенная Полинька. – Кто-нибудь, – только скажите, можно ли видеть Бориса Антоныча?

Ответа нет. Полинька нагнулась взглянуть в отдушину, но отдушина уж заложена. Потеряв надежду добиться толку, Полинька решилась вернуться домой, как вдруг к собачьему лаю присоединились дикие крики: «Атрешка!.. пес… эй; буйвол! в норы!..»

Человеческий голос обрадовал Полиньку. Цепи загремели, глухой лай сменился пронзительным визгом, потом все смолкло, и калитка, будто сама собой, растворилась. Полинька вошла на большой двор, обнесенный со всех сторон крепким забором с острыми железными зубцами. Все еще не видя никого, кроме собак, высунувших оскаленные морды из своих будок, Полинька долго осматривалась и, наконец, заглянула за калитку: она увидела притаившегося мальчишку лет тринадцати, низенького, но весьма плотного, в ситцевой женской кацавейке. Нечесаные рыжие волосы совершенно закрывали его лоб, отчего широкое лицо мальчишки казалось еще шире и безобразнее. Он самодовольно улыбался.

– Дома? можно видеть?

Мальчишка грязным пальцем указал на крыльцо.

– Туда надо итти? – спросила Полинька.

Он кивнул головой и стал запирать калитку. Полиньке сделалось страшно. Она вошла на крыльцо и опять спросила:

– Так я могу видеть Бориса Антоныча?

Мальчишка подошел к крыльцу, сильно хромая.

– Ты хромаешь?

Он жалобно посмотрел на нее и показал, что не может говорить.

– Кто же со мной говорил? – спросила удивленная Полинька.

Мальчишка замотал головой, отворил дверь и пошел вперед, маня за собой Полиньку. Они вошли в небольшую прихожую; мальчишка тщательно вытер об половик свои босые ноги и указал ей на дверь; но Полинька сначала с участием посмотрела на него и дала ему пятак. Обрадованный неожиданным подарком, мальчишка весь вспыхнул, начал ласково кивать головой и все указывал на дверь. Отворив ее и переступив порог, Полинька очутилась в комнате, длинной и низенькой, которая, несмотря на множество мебели, поражала пустотой. Огромные вазы, окутанные полотном, не гармонировали с маленькими соломенными стульями, плотно стоявшими по стенам непрерывными рядами; большое зеркало с вычурной рамой, не уставившееся в длину, висело поперек.

Низенькая, мрачная комната, пустой двор, глухой переулок, немой оборванный мальчик – все вместе навело на Полиньку страх. «Что, если у меня отнимут вещи? – подумала она. – Кто услышит мои крики в этом пустом доме?» И она прижала к сердцу свое сокровище и в страхе ждала нападения.

Вдруг кто-то кашлянул так близко, что можно было подозревать в комнате присутствие другого лица. Полинька еще сильней испугалась; ноги у ней задрожали, она в изнеможении села. Послышались тихие шаги, и скоро отворилась маленькая дверь, не замеченная Полинькой.

Борис Антоныч будто вырос перед Полинькой из-под полу. Он был одет очень чисто, даже несколько изысканно. При дневном свете в лице его резко обозначалось множество мелких морщин; глаза, опушенные густыми ресницами, так же ярко блестели, как вчера вечером, когда Полинька увидела его в первый раз.

Полинька так обрадовалась появлению знакомого человека, что даже не заметила удивленного взгляда, брошенного на нее горбуном.

Они раскланялись очень вежливо.

– Извините меня… – начала она.

– Что вам угодно? – перебил он сухо. Полинька смутилась.

Заметив ее смущение, он повторил мягче:

– Что вам угодно?

– Я принесла вещи под залог, – отвечала ободренная Полинька.

Он слегка улыбнулся и посмотрел искоса на узелок, который держала Полинька.

– Какие вещи?

– Ложки и часы! – твердо отвечала Полинька.

Она начала развязывать узелок, но так торопливо и неосторожно, что все ее сокровище с звоном полетел на пол.

– Ах, что вы наделали! – воскликнул Борис Антоныч.

Он поднял часы, приложил к уху и радостно сказал: «Идут!», потом обратился к Полиньке.

– Ах, как вы испугались! – сказал он, любуясь бледным и прекрасным лицом девушки. – Хе, хе, хе!

Посмеявшись тихо и звонко, он круто спросил:

– Ну-с, так вы желаете денег взаймы?

– Да! – отвечала Полинька и нагнулась подбирать ложки.

– Не могу! – решительно отвечал Борис Антоныч, тоже нагибаясь, причем Полинька заметила горб между его плечами.

Отказ так поразил бедную девушку, что она лишилась голоса и удивленными глазами смотрела на согнувшегося горбуна, который, подбирая ложки, слегка кряхтел. Она быстро поднялась с колен, не заботясь больше о своих ложках, на которых за минуту основывала так много надежд. Горбун тоже поднялся и долго не спускал глаз с изумленного и печального личика девушки, которой все еще казалось невероятным, чтоб вещи, столь дорогие для нее, не имели цены в глазах других. Наконец, чтоб смягчить свой отказ, он сказал:

– Я даю только по знакомству или по дружбе.

– Я слышала… – робко начала Полинька.

– От кого вы слышали? – перебил, горбун, раскрыв шире свои большие глаза.

– …что вы даете деньги, – продолжала Полинька.

– Мало ли что вы слышали! Точно, даю деньги, но только тем, кого знаю. И кто вам сказал, что я беру в залог вещи?

– Надежда Сергеевна Кирпичова.

Лицо горбуна немного передернулось. Взглянув исподлобья на Полиньку, он проговорил протяжно:

– Гм! так вы ее знаете?.. А супруга изволите также знать?

– Да, как же-с! – с улыбкой отвечала Полинька.

– Позвольте узнать, с кем имею честь говорить? – вежливо спросил горбун, немного нагнувшись.

Полинька снова увидела горб.

– С… с Климовой! – весело отвечала Полинька.

– Имя и отечество?

– Палагея Ивановна.

– Вы замужем?

И горбун насторожил уши.

– Нет, – беззаботно отвечала Полинька.

Горбун пристально посмотрел на нее, будто желая удостовериться, правду ли она говорит.

– С папенькой или с маменькой изволите жить?

– Нет-с…

– Так, может быть, – перебил горбун, – с тетенькой?

– У меня никого нет родных, – грустно отвечала девушка.

– С кем же изволите жить?.. молодой девушке надо…

– Я живу одна, на своей квартире, и трудами достаю себе хлеб, – быстро возразила Полинька, опасаясь, чтоб он не сделал о ней невыгодного заключения.

– Так вы сирота круглая, можно сказать?

– Да, – со вздохом отвечала Полинька.

– Далеко изволите жить?

– Нет, близко, то есть… довольно далеко…

Во время разговора горбун так проницательно смотрел на Полиньку, что она начинала уже чувствовать невольную неловкость и очень обрадовалась, когда горбун, наконец, спросил:

– А сколько вы желаете? я, знаете, обеднел немного в последнее время.

– Мне нужно двести пятьдесят рублей, – отвечала Полинька, краснея.

– Не могу такой суммы! – возразил горбун, но, увидев слезы, блеснувшие в глазах девушки, прибавил, не сводя с нее глаз: – вещиц-то маловато!

– У меня ничего больше нет! я все принесла! – отчаянным голосом отвечала Полинька.

– Нет ли еще чего? колечка? – с тихой усмешкой спросил горбун и, лукаво прищурив глаза, посмотрел на тоненький пальчик девушки, украшенный колечком с небольшим опалом. Она быстро схватилась за свое колечко, будто испугавшись, чтоб у ней его не отняли, и долго и печально смотрела на него: слезы блеснули в ее черных продолговатых глазах… Горбун жадно наблюдал лицо девушки, беспрестанно менявшееся. Вдруг оно приняло выражение твердой решимости. Поспешно сняв шляпку, Полинька с удивительным проворством выдернула из ушей небольшие серьги, кинула их к ложкам и стала снимать кольцо, но так медленно, что, казалось у ней недоставало сил. Наконец кольцо было снято; Полинька поднесла его к губам, но, увидав язвительную улыбку горбуна, следившего за каждым ее движением, быстро переменила намерение: не поцеловав дорогого колечка, она присоединила его к прочим вещам.

– Теперь я все отдала! – проговорила взволнованная девушка нетвердым голосом и закрыла лицо руками.

Горбун не обращал внимания на приращение вещей: он жадно смотрел на Полиньку, на ее черную роскошную косу, тяготившую, казалось, маленькую головку, на чудную шейку, которой белизну разительней оттеняли крошечные уши, сильно раскрасневшиеся и сквозившие. Лицо горбуна вдруг просияло веселостью и добротой.

– Я вам дам денег, – сказал он ласково.

Как быстро приняла руки Полинька, и какая чудная, радостная улыбка осветила ее раскрасневшееся личико и глаза, еще полные слез!

– …только скажите мне, – продолжал горбун, – на что вам деньги? Вы молоды: может быть, на прихоти, на тряпки?.. а?

– О, нет, мне нужны деньги не на пустяки!

– Эх, хе, хе! Все так говорят, когда деньги нужны. Извините, но я вам сейчас расскажу, какую со мной штуку сыграли. Вот так же приходит раз одна дама, или девица, бог ее знает… ну-с… и просит денег под залог вещей. Вещи такие дрянные, да жаль стало: плачет, говорит: нужда! Хорошо, я и дал. Срок проходит; жду, жду… нет, не идет моя должница… хе, хе, хе! Раз встречаюсь с ней на улицей говорю: «Возьмите же ваши вещи: пора деньги отдать». А она смеется… «Вольно же вам, говорит, брать вещи, которые вдвое дешевле стоят!» Вот-с, как впросак попался! хе, хе, хе!

Заливаясь своим тоненьким и звонким смехом, горбун щурился и пристально смотрел на Полиньку. Щеки девушки вспыхнули, и все лицо приняло напряженное выражение; в глазах сверкнуло негодование.

– Я знаю, – поспешил прибавить горбун, – что вы так не поступите; но вы молоды, сирота… без родителей.

– Пожалуйста, не думайте обо мне… я трудами достаю хлеб…

– А зачем же вам столько денег? – перебил горбун. – Я вас спрашиваю, как отец, как брат…

В голосе его звучало столько нежности и участия, что Полинька доверчиво сказала:

– Я занимаю для своего жениха.

– Ай, ай, ай! – И лицо Бориса Антоныча все скорчилось. – Вот так я и думал! Как можно доверять деньги молодым людям? Верно, проигрался?

– Нет, ему нужно ехать отсюда.

– Надолго? – спросил горбун и внимательно посмотрел на печальную Полиньку.

– Не знаю, может быть, и надолго, – отвечала она с грустью.

– Вот ведь молодость-то! Право, мне жаль вас: долго ли до беды! ну а кто вступится за вас?.. И братца нет? а?

– Нет никого, – с досадой отвечала Полинька.

– Вот я тоже знал одну девицу-сироту. Жених присватался – хорошо; вот и собрался он к своим родным просить позволенья жениться. А она – молода была – сдуру денег ему и вещей

надавала. Ну-с, уехал он; она ждет: ни слуху, ни духу, – жених сгиб да пропал! Бедная девушка похудела; партии хорошие были, всем отказывала: знаете, все верила его клятвам. Хе, хе, хе! Через год или больше, бог их знает, они встретились на улице; она к нему на шею; с радости плачет…

«Что вам угодно? кто вы такие?»

«Как! ты меня не узнал?» – спрашивает она своего жениха.

«Я вас не знаю…»

«Я твоя невеста…»

«Я давно женат на другой…» – Хе, хе, хе! – тихим смехом окончил горбун свой рассказ, который, впрочем, не произвел на Полиньку особенного впечатления. Твердо уверенная в Каютине, она весело сказала:

– Ну, он не станет меня обманывать: напишет, если полюбит другую.

– Да, вот вы так рассуждаете! Ну, хорошо, он вас так любит, что сам не женится; ну, так его силою женят… хе, хе, хе! Человек молодой, как раз встретит товарищей, погуляют, оберут да так подведут, что на другое утро просыпается, а жена сбоку… хе, хе, хе! какая-нибудь сестрица приятеля… хе, хе, хе!

В лице Полиньки выразился испуг: она вспомнила ветреный характер своего жениха, его слабость кутить и дружиться со всеми, и предсказания горбуна смутили ее. А горбун смеялся громче обыкновенного, будто радуясь, что испугал девушку.

– Ну-с, – сказал он, потирая руки, – из уважения к Надежде Сергеевне я готов вам дать ту сумму, какую вы желаете. Вот извольте видеть: ваши вещи я беру во сто пятидесяти рублях, а в остальных… прошу покорно, так, знаете, на память, напишите, что, дескать, взяли у такого-то взаймы сто рублей ассигнациями… хе, хе, хе!

Горбун подошел к столу и приготовил все нужное для письма.

Когда Полинька проворно написала, что он продиктовал ей, горбун сказал:

– Теперь извольте имя и фамилию подписать.

Когда и фамилия была подписана, горбун медленно сложил и спрятал расписку в карман, тихо посмеиваясь. Полинька спокойно стояла перед ним, а он, заложив руки назад, насмешливо смотрел ей в лицо. Наконец его насмешливый и проницательный взгляд смутил ее.

– Ну-с, – сказал он тогда, – вы изволили дать мне расписку?

– Да, – отвечала Полинька, не понимая, что он хочет сказать своим вопросом.

– А деньги получили? хе, хе, хе!

– Нет.

– Вот молодость! – воскликнул горбун, недовольный добродушием девушки. – Денег не получили, – прибавил он резко, – а расписку мне отдали; ну, как я вам не отдам теперь денег, а?

И лицо его приняло такое решительное выражение, что Полинька побледнела.

– Как можно? – возразила она с испугом.

– Как можно?.. вот я вам покажу, как можно!..

Он гордо поднял голову и грубо проговорил:

– Я не могу, сударыня, дать вам взаймы; извольте прежде заплатить по старой расписке… хе, хе, хе!

Заключив свою грозную речь тихим и гармоническим смехом, горбун придал своему лицу такое добродушное выражение, что Полинька тоже весело улыбнулась.

– Вот видите, какая вы ветреная, Палагея Ивановна! – заметил горбун с особенным ударением на ее имени. – Извольте подождать: я сейчас принесу деньги… Погодите, сейчас!

Он ушел с озабоченным видом. Полинька, утомленная разнородными ощущениями, села и, нетерпеливо ожидая его возвращения, печально смотрела на красную полоску, будто на память оставленную колечком на ее пальце. —

– Вот-с и я! – произнес горбун, остановясь перед ней и подавая деньги.

Полинька протянула к ним руку, но горбун сказал:

– Позвольте! Где расписка?

– У вас в кармане, – шутливо отвечала Полинька.

– Хе, хе, хе! ну, так извольте взять ее. – Он подал ей расписку и продолжал: – Теперь протяните вашу ручку… вот так, хорошо… Вот деньги, а вот расписка.

Они обменялись.

– Вот так нужно обходиться с деньгами, – заключил горбун.

Полинька поблагодарила его и хотела спрятать деньги. Горбун остановил ее.

– По-по-позвольте! Так вы получили деньги?

– Получила.

– Сполна?

– Сполна…

И она остановилась в недоумении.

– Как же вы не считая взяли? хе, хе, хе!

Пересчитав деньги, Полинька смутилась: двадцати пяти рублей недоставало.

– Хе, хе, хе! недостает!

– Да, двадцати пяти рублей.

– То-то, вы, молодой народ! ну хорошо, что на меня напали, а то…

И горбун, не окончив своей мысли, подал девушке двадцатипятирублевую бумажку.

– Благодарю вас, – сказала Полинька и надела шляпку.

– Прошу и в другой раз не забыть меня; рад, душевно рад служить всем, кто придет от имени такой почтенной дамы, как супруга Василья Матвеича.

Полинька раскланялась и вышла. Горбун провожал ее глазами.

Только что Полинька спустилась с крыльца, как четыре огромные собаки яростно кинулись к ней, гремя цепями, которые были так длинны, что собаки бегали по всему двору. Полинька с пугливым криком воротилась. Горбун стоял в прихожей, заложив руки за спину; он встретил ее своим тихим смехом.

– А ваши собаки? – задыхаясь, сказала она.

– Хе, хе, хе! они не кусаются.

– Нет, я их боюсь.

И Полиинька умоляющими глазами смотрела на горбуна. Лицо его съежилось, и он сказал сладким голосом:

– Сейчас, не беспокойтесь. Извольте теперь итти, – продолжал он, дернув за снурок колокольчика. – Желаю вам веселой дороги и прошу вас засвидетельствовать мое почтение Надежде Сергеевне и ее супругу.

– Хорошо-с, прощайте.

– Прощайте! – кричал ей вслед горбун.

На крыльце Полинька встретила рыжего мальчишку; она дружески кивнула ему головой. Он протянул руку и, к великому ее удивлению, жалобно сказал:

– Дай еще: я сиротка, – богу буду за тебя молиться!

– Так ты говоришь? – спросила изумленная Полинька.

Мальчишка улыбнулся и снова жалобно затянул:

– Дай хоть грошик!

– У меня нет больше…

Мальчишка проворно побежал отворить калитку и Полинька подивилась, как искусно час тому назад он притворялся хромым.

– Прощай! – сказала она, остановясь в калитке и погрозив ему пальцем.

Мальчишка глупо усмехнулся и дерзко сказал:

– Смотри же, принеси в другой раз, а не то…

– Что ж ты сделаешь? – перебила его угрозу Полинька.
– Не впущу!
– Как же ты смеешь?
– А так!
– Я скажу Борису Антонычу.
– Да я тебя не впущу: как же ты скажешь?
– Я его знаю; увижусь в другом доме и скажу.

Они разговаривали таким тоном, как будто дразнили друг друга. При последних словах Полиньки мальчишка задумался, потом выразительно произнес: «Ну, так…», но, не кончив фразы, неожиданно толкнул Полиньку в спину и с диким хохотом захлопнул за ней калитку.

Полинька хотела закричать… но осмотрелась: пустота страшная была кругом… и в невольном испуге Полинька почти бегом пустилась домой…

Глава VII
Отдается комната с отоплением

В комнате Полиньки страшный беспорядок: посреди пола чемодан, раскрытый и полууложенный; белье и платье разбросаны по стульям.

Полинька одна в комнате; она то укладывает, то зашивает что-нибудь. Глаза ее немного припухли и очень красны; слезы даже нередко мешают ей шить.

Солнце село. Каждый раз, как на улице стучали дрожки, Полинька подбегала к окну, но отходила с грустью и снова принималась укладывать.

Наконец стук дрожек, послышавшийся издали, замолк под самыми окнами. Полинька отряхнула платье, поправила волосы и кинулась встречать Каютина, который с трудом вошел в дверь, обремененный многоразличными узлами.

– А, насилу! я думала, что ты уж пропал, – сказала Полинька.

Каютин с озабоченным видом подал Полиньке бутылку шампанского.

– Вот я бутылочку вина привез. Разопьем на прощанье. Ах, как я устал! бегал, как угорелый! все торопился к тебе, – уж недолго на… нам… Ну, Полинька, ты, кажется, плачешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.